

Ташкентцам и всем, кому это памятно, посвящается



**Ташкент —
прекрасная эпоха**

ББК

Г. Н. Успенская

Ташкент — прекрасная эпоха /
С-Пб.: Новый мир искусства, 2008. — 280 с.

ISBN

Ташкент — имя, в которое многое вмещается: хлебный, экзотический, теплый, гостеприимный, удивительный... Не встречалось людей, обиженных на этот город. О феномене его времени и места написано, к сожалению, немного. В памяти родившихся, живших, работавших и гостивших там живет Прекрасная эпоха — от середины 1920-х до знаменитого землетрясения 1966-го.

Книга составлена из рассказов, воспоминаний, заметок человека, обязанного большей частью своей жизни Ташкенту. Любовь к тому городу воссоединяет разрозненную, но узнаваемую «ташкентскую диаспору».

ISBN

© Г. Н. Успенская
© Составитель А. Успенский
© Дизайн, верстка Г. Сазонова
© Издательство «Новый мир искусства»

Г. Н. Успенская

Ташкент —
прекрасная
эпоха

Новый мир искусства

2008

Краткое предисловие

Талант рассказчика — то из немногого, что моя мама (автор этой книги) признавала за собой. Все, с кем она общалась, хорошо помнят ее устный дар. Трудно представить, чтобы она, всласть поговорив, вернее рассказав историю, и не одну, устраивалась записывать рассказанное. Такая раздвоенность доступна лишь профессионалам. Мама не пыталась стать писателем: и стеснялась, и ленилась, и не видела смысла — благодарные собеседники-вниматели находились почти всегда. Записи, сделанные ее рукой, случайны и возникли скорее вопреки, чем в согласии с ее привычками. «Я не умею ничего делать в работе: или выходит, или не выходит», — сказала она мне о текстах, легших на бумагу, потому что «это не удержать внутри», а слушателя не оказалось. Например, «Степь» она начала в четыре утра, закончила полшестого, дождалась восьми и позвонила знакомой, чтобы прочесть. Не терпела любых записывающих устройств и абсолютно серьезно грозила «отлучить от дома» наших друзей, задумавшихся о диктофоне. Лишь в последние несколько лет она уступила: решила восстановить биографии родителей как потомок, сохранить значительные события как очевидец и, за полтора года до конца, смирилась с аудио- и видеотехникой, помня: она — единственный свидетель. Записывалось урывками: не то что вдохновения — не хватало элементарных сил. Материал остался очень неровный, от залитературенных рассказов, отчасти утративших авторскую интонацию, до неостывших заметок дневникового характера. Но — любой живой материал неоднороден, и другого уже не будет. Название книги собирает ее, объясняет причину и смысл ее появления — рассказать о Прекрасной эпохе, в середине которой в этом городе родилась Галина Николаевна Успенская — страстный и пристрастный житель Ташкента.

Антон Успенский

ГОРОД



Это был Ташкент

У нас есть такие в России три города: Одесса, Тифлис и Ташкент. Одессе повезло: там оказалась масса народу, которые о городе много писали, и Одесса как-то проявилась. О Тифлисе тоже писали не меньше. А Ташкент оказался городом, про который промолчали.

На самом деле, это такие три субэтноса — одесский субэтнос, совершенно своеобразный, тифлисский тоже, ташкентский тоже. Даже ташкентские мусульмане совершенно не похожи на кавказских мусульман. Эти абсолютно разные ландшафты и разные истории породили совершенно разных людей. И когда русские туда пришли, то они пришли совсем не так, как на Кавказ. Во-первых, они пришли позже, потом, они пришли мирным путем. Там крови очень мало пролилось, потому что сначала пришли путешественники, то есть Пржевальский¹, Семенов-Тянь-Шанский², ну, и масса других. Это были люди, которые изучали край, и не только Среднюю Азию, они изучали Монголию, Тянь-Шань и Памир. Они привозили очень много знаний всяких, и не только о камнях, о растениях, но и о людях, обычаях, быте — обо всем. Все это на географических обществах российских доклады-

¹ Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) — российский путешественник и натуралист.

² Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский (до 1906 — Семенов) (1827–1914) — географ, ботаник, статистик, путешественник, общественный деятель.

валось, об этом писались труды, издавались журналы. Вспоминаю, хотя бы по тому же Пржевальскому, какие прекрасные рисунки были, — великолепные. Причем этими изданиями интересовались, их читали.

Поэтому, когда войска пришли в Среднюю Азию, они очень хорошо знали, что должны встретить. Средняя Азия находилась в ситуации даже не обскурации, я бы сказала — не в стагнации, это был такой глубочайший кризис. Край просто едва дышал, он лежал в развалинах. Им, в общем-то, можно было еще долго не интересоваться, потому что у России на то время — середина девятнадцатого века — было забот других тоже очень много. Но Англия в это время заняла уже Афганистан и подошла к южным границам Средней Азии, которая, конечно, ее очень интересовала. А у России, как всегда, в степи не было границы. Мы просто считали, что эти пространства и есть наши границы. Ну, кто-то там гуляет, — то калмыки, то кипчаки, то киргизы — не наше дело. Там казаки — они разберутся. Первое посольство еще Петр I в Хорезм отправил, и вот тогда же был этот анекдот: Хорезм-шах сумел только один день кормить посольство, а во второй день уже денег не было. Гарем шаха сам себя обеспечивал продуктами. Эти бедные девочки вообще не видели своего шаха, они так девственницами и помирали. Они вышивали золотом, это был их промысел, продавалось это, вот каким-то образом шаха своего содержали³. А в общем, была страшная бедность, разруха, какие они там были мусульмане? Шейхи, которые сидели на

³ У одной из маминых подруг родная бабушка успела побывать в таком гареме, совсем под занавес и совсем девочкой. Потом это было лучшей рекомендацией для ее выхода замуж (*прим. А. У.*).

развалинах этих мечетей роскошных, они же любому туристу могли продать все что угодно, любой изразец, только лишь бы копеечку или корочку хлеба, не было никакой энергии. Энергичным было только Кокандское ханство, потому что там сидели армяне-торговцы и там были и деньги, и энергия. А так — это сухофрукты, и больше ничего. Когда Россия увидела, что Англия начинает захватывать все это дело, тогда решили — пора, и пришли. Мы же считали, что это вроде как наше, тем более что две дочери бухарского эмира учились в театральном училище в Москве, они потом стали актрисами, на позор своему отцу. И работали, одна — во МХАТе, другая — у Вахтангова.

В общем-то, войны никакой не было. Туркмения совсем не воевала. Причем русские мало об этом знают, они считают, что бедная, дикая какая-то Средняя Азия и так далее. Генерал Черняев⁴ осаждал Ташкент недели две. Там была просто демонстрация, вышли войска... На самом деле Черняев и Верещагин⁵ были в полном восторге. Потому что это же была невероятная красота — в пыли, под солнцем, в латах золоченых, в серебряных шлемах, сверкая каким-то средневековым оружием, которое очень богато, на конях, покрытых шелками и бархатом, вылезло войско, понимаешь, в долину — сражаться. А противник с пушками, с ружьями — в полном восторге. Каменными ядрами они швырялись в нашу русскую армию. Короче говоря, Ташкент даже не пытался сопротивляться, сопротивлялись только Кокандские ханы, которые считали, что им сил хватит для того, чтобы противостоять и Англии,

⁴ Михаил Григорьевич Черняев (1828–1898) — русский генерал, Туркестанский генерал-губернатор.

⁵ Василий Васильевич Верещагин (1842–1904) — русский живописец-баталист, пришел в Туркестан вместе с действующей армией.

и России, и всем на свете и сохранить свое государство. А само население было вообще в лежачем положении, а те, которые сидели или стоять могли, понимали, что Россия — это единственное спасение, что торговать можно прекрасно, и знали, что сделали англичане в Индии. С русскими они уже сталкивались достаточно часто, потому что, кроме отдельных экспедиций научных, какая-то хилая торговля все-таки была. И так или иначе, но кто-то учился, кто-то приезжал, были какие-то связи. Казахи торговали скотом и на юг, в Среднюю Азию, и на север, в Россию. Если Россию разделить на Азию и Европу, то Европа и Азия российские сталкивались в Омске с этой Южной, тюркской Азией.

Война основная была в Коканде, но уже немного позже. И вот что сделали русские — они, конечно, сделали как всегда, когда действия велись на чужой территории и в чужих интересах. Они действовали очень умно, рассудительно, логично и крайне выгодно для тех, для кого они это делают, не для себя, конечно. Представляешь себе эти просторы — Казахстан, громадные степи, совершенно безлюдные, потом две пустыни, Кызылкум и Каракумы, две реки между ними. По берегу Каспия, с той стороны, где Азербайджан, там еще более-менее пройти можно, через Дербентские ворота. А вот по этой стороне, по восточной, по Каспию, нужно пересекать плато Устюрт. Это все знают, даже когда Шелковый путь был, — самое противное место. Там есть такая штука, как Борсакельмес, в переводе — «пойдешь — не вернешься». Это плато с солончаковыми болотами, где засосет — и всё, причем топь — соленая, едко-соленая. Там всю жизнь ходили караваны, есть колодцы, развалины караван-сарая. Вода горькая, и еще попробуй ее найди, потому что все эти пути

разрушены. И вот русские построили первую железную дорогу по самому югу, от Красноводска теперешнего и до самого юга Каспийского моря. Если примерно представить границу с Ираном и с Афганистаном, вот именно здесь построили железную дорогу. Она имела военное значение: на этой железной дороге поставили крепости, чтобы Англия понимала — дальше уже ей нет хода. Это и была граница. А сверху никаких путей железнодорожных не было, и эта железная дорога была построена после 1865 года — даты завоевания Ташкента. Вернее, даже не завоевания, а присоединения Ташкента официально к России. Железная дорога была построена семью годами позже, — представляешь, какая трудность шпалы найти там, где вообще леса нет, рельсы привезти, и все это по пустыне, по которой можно только лошадьми ехать. После этого построили еще четыре железных дороги, соединяющих Ташкент с Бухарой, Бухару с Красноводском, потом наверх, к Алма-Ате, потом ветка на Омск. И только после этого построили, наконец, ветку, которая соединила Россию со Средней Азией, и это было в 1904 году. А до этого все время делали только ветки внутренние. Построили хлопкоочистительный завод, построили текстильную фабрику, — нужна железная дорога, — и ее строили. А то, что из России те же инженеры едут на таратайке туда, — потерпим. Или наша армия, очередной гарнизон туда идет маршем через безводную пустыню. По дороге теряет половину состава от дизентерии, от всяких кишечных заболеваний, от безводья, бог знает от чего, это — пожалуйста. Потом уже, когда все там было более-менее налажено, тогда мы построили дорогу для себя. Точно так же себя вели в Средней Азии русские и впредь. Поэтому никаких восстаний, никаких

Шамилей⁶ в Азии не было. Почему басмаческое движение, которое сейчас тшятся определить как народно-освободительное, — это абсолютная чушь. Причем ни один, даже антирусско-настроенный человек, живущий в Азии, не возьмет на себя грех сказать, что его басмачи — национально-освободительное движение. Басмачи были поддержаны англичанами. У них была последняя надежда, когда начались события революционные, что басмаческое движение, с поддержкой английским оружием, английскими деньгами, поднимет народ, вытеснит русских, и тогда англичане туда спокойно войдут, и, наконец, Средняя Азия, этот очень богатый край, будет их.

По моему глубокому убеждению, любая пустыня — это место бывшей очень мощной цивилизации. Чем мощнее цивилизация, тем больше она оставляет после себя такое вот пустое место, в виде пустыни, это действительно так. Совсем недавно я видела передачу по телевизору, — туркмены разрешили копать на своей территории. И там копают немцы или англичане, в общем, какие-то европейцы, ну, и включили туркменских археологов в эту же экспедицию. В пустыне Каракумы, как и предполагала Пугаченкова⁷, стоят просто буквально цепи из городов. И причем интересно, как им эти города помогла найти природа, — неожиданно в мае пошел дождь, когда дождей не бывает в это время. Он пошел, а они летели и увидели сверху, что нарисован город. То есть

⁶ Шамиль (1797–1871) — вождь кавказских горцев, в 1834 г. признанный имамом, объединил горцев Дагестана и Чечни в теократическое государство и до взятия в плен в 1859 г. энергично вел борьбу.

⁷ Гаина Анатольевна Пугаченкова (1915–2007) — исследователь искусства и культуры Центральной Азии, академик Академии наук Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор.

получилось, что вода прошла в песок, а там, где были фундаменты, основания стен или еще что-то, — они были сделаны из кирпича, из известкового камня. А он впитал в себя воду и не отдал сразу, и эти темные сырые полосы после дождя проявили совершенно точно рисунок города, осталось только спуститься вниз и раскопать его. Потом они этим пользовались, то есть просто ходили и орошали землю. И в общем-то, немножко обидно: они делают вид, что сами все нашли. На самом деле все уже было спрогнозировано, и были составлены такие культурологические карты-схемы — где копать и что можно найти. И это место, конечно, богатейшая цивилизация, потому что любая цивилизация восточного плана — в первую очередь ирригация, а ирригация была совершенно удивительная. Там была такая сложная система каналов, орошения, и то, что сейчас называют пустыня, — это были цветущие края. Старая культура, после которой можно ничего, вроде как, и не делать. Они ничего и не делали в середине — в конце XIX века, разлагались. Но они сидели на этом месте, в котором ноосфера оставалась, — все равно это создает совершенно другое ощущение и поведение человека, нежели сидеть где-нибудь в кавказском ущелье и только отстреливаться.

В Ташкенте получилось так, что туда ссылали очень много народу, особенно поляков. Потом в Ташкент ехали люди, которым надоела чиновничья рутина, которые хотели что-то сделать. То есть, если ты хотел работать, там был просто непочатый край работы, и при этом над тобой никто не сидел — не надо было ничего пробивать, можно было просто отдаться работе. И этим очень многие пользовались, туда ехали пассионарии, а кроме того, туда ехали еще и авантюристы, которые хотели разбогатеть, —

тоже ведь люди с энергией. В общем, там скопилось колоссальное количество людей с энергией. Если даже их было не так уж и много, то не было инерционной массы народу, каждый был личность. Там была очень интересная система строительства, я бы сказала, лояльная очень, — никто не разрушал старые города. Просто рядом со старыми городами строили новые, и получалось — старая часть города и новая часть города. Как правило, старая и новая часть разделялись большим-большим каналом, — была водная преграда. И никто не вмешивался в местный быт, — как хочешь, так и живи. Все мечети восстановили, никто против религии не выступал, никто насильно никого не крестил, в православие не обращал.

Туда приехали люди интеллигентные, я бы сказала, по-настоящему, и аристократов там было много. Самая главная их отличительная особенность, аристократов, по моим детским наблюдениям за ними, — это то, что они обладают колоссальным чувством собственного достоинства. Обладая таким чувством собственного достоинства, ни за что в жизни не станешь унижать никого. Там было просто невероятное количество столбовых дворян-поляков. Там были Собецкие (это уже царский род), Сливинские, Маевские... Ну, в общем, очень много, при этом они вели себя так: например, я как воспитание получала... Меня никто особенно, кроме бабушки, не воспитывал. К нам приходил геолог-петрограф, изысканный, холеный, сноб невероятный, скульптор-любитель, а вообще, геолог — Ян Станиславович Висневский из очень старинного дворянского рода. У него была такая стриженная шкиперская борода, ходил он с палочкой. Холодный взгляд, ледяные маленькие серые глаза, пахнет «Шипром», курит трубку. Высокомерный невероятно.

И уж такой франт, такой аристократ, такой... — голубая кровь и белая кость. Но правда, летом он садился на лошадь и пахал в полевой экспедиции, как и все они. Никто не презирал труд. Настоящие-то аристократы, они к этому относятся несколько по-другому, я считаю.

Как-то пришел он к нам в гости, а у нас за столом сидела мамина рабочая, узбечка⁸. И мы обедали, ему, конечно, предложили — за стол. Значит, Ян Станиславович уселся, и я принесла ему прибор. И естественно, эта узбечка ела вилок, и вилок у нее, конечно, была в правой руке. Ян Станиславович, совершенно автоматически, взял вилок и нож, и — как нужно взял. И вот буквально у меня на глазах он посмотрел туда-сюда, отложил нож, положил вилок в правую руку и стал есть как эта узбечка, чтобы не оскорблять ее ничем, — это вот воспитание, я считаю, это вот — то самое, как люди вообще должны себя вести. И поэтому из русских, которые приехали, местное население никто никогда не унижал, абсолютно никто. Конечно, нет, не было все так идеально. Был, например, такой есаул Русанов, казак, которого все помнили. За ним кровавый след стелился по всей Средней Азии, он со своей сотней вырезал целые кишлаки. Ну, он был садист, ему поручали сделать какое-нибудь совершенно простое дело, он из него устраивал войну. В конечном счете его судили военным трибуналом и расстреляли.

Когда русские приходили в Среднюю Азию, там оказывалось такое поле деятельности, что они очень увлекались и начинали работать. Например, в Ташкенте не было игорных домов, там в Офицерском собрании считалось неприличным в карты играть. В Офицерском

⁸ Рабочая из ташкентского Ботанического сада.



Мария Тимофеевна Землянова и Василий Евгеньевич Сливинский. 1953 г.

собрании считалось приличным слушать отчеты археологического кружка, или географические, или ботанические. Была короткая возможность во времени жить теми идеалами, теми мечтами, которые были у всех, начиная с дворянских мальчиков и кончая гимназическими барышнями. Чтобы не было взяток и чтобы всё своим трудом. Там был народ такой, который совершенно не хотел карьеры. То есть те, кто приехал в Среднюю Азию, они накушались в России всякого — и блата, и взяток, и нечистых путей. Те, кто хотел сделать карьеру, те делали ее здесь, в России. А те, кто хотел работать или хотел чего-то нового, интересного, приехали туда, где можно было составить славное имя. Но это совершенно не значит, что была правительственная награда или какой-нибудь подтверждающий документ, просто имелось славное имя среди своих. Такая карьера была возможна.

Среднеазиатский государственный университет (САГУ) был основан в 1920 году, Академия наук попозже. В 1920 году по указанию Ленина приехал поезд, он назывался «Поездом тубетеечников». Приехало колоссальное количество профессоров, доцентов — людей, которые должны были поднимать науку. Это они организовали университет, каждый из них был личность. Кто поехал из Москвы, из Петербурга в глухую Азию организовывать университет? Во-первых, одинокие люди, естественно, бессемейные. И потом те, которые прекрасно понимают, сколько их ждет трудностей и что эти трудности, кроме забот и хлопот, еще доставят массу научного удовольствия. Соответственно подбирались характеры, — ехали добровольно, насильно туда не посылали. Это как раз те самые 1920-е годы, когда Пашенная⁹ организовывала в Якутии театр, — вот этот массовый подъем окраин, самых разных.

В общем-то, народу было немного, а каждый представлял собой очень много, получалось, что один человек мог сделать то, что делают в обычном режиме институты или академии. Мама с папой, они учились вместе в САГУ на биофаке, им преподавали те самые люди, которые поднимали Среднюю Азию. Правда, им немного не повезло: они окончили в 1940 году университет, а в 1937-м у них прямо с лекций брали преподавателей, особенно поляков. Там тоже 37 год прошел, хотя и не так кроваво, как в России, опричнина ведь тогда в Москве, в центре всех вырезала, а окраины более-менее сохранились¹⁰.

⁹ Вера Николаевна Пашенная (1887–1962) — актриса, в 1955 г. состоялась первый выпуск первой Якутской театральной студии, набранной по инициативе Пашенной.

¹⁰ Один пример — две родные сестры А. Ф. Керенского жили в Ташкенте при советской власти и умерли от старости (*прим. А. У.*).



*САГУ. Кафедра морфологии и анатомии растений, V курс.
Верхний ряд, слева: С. Ю. Рожановский, неизвестная, М. И. Землянова*

А в Ташкенте еще было так: круговая порука была общим состоянием, никто никого не предавал. Считалось лучше дать по морде, лучше побить, темную сделать, но ни в коем случае ни завучу пожаловаться, ни милиционеру, ни партийному боссу. И поэтому никто не лез наверх, совершенно. Никто не хотел быть партийным, тем более, вообще-то говоря, никто не хотел быть большевиком, и коммунистом — тоже не хотел. Эти единые этические принципы были провозглашены в центральной России. Собственно, вся романтика революции, она же на этих принципах была построена. Эти принципы они туда и привезли. Если бы они были слабые люди, то может быть, они бы объединились в какие-то партии. А так — каждый из них имел вот эти принципы, но, прежде всего, был очень мощной индивидуальностью, таким пассионарием, что

ему совершенно не нужно было с кем-то объединяться. Наоборот, ему нужно было как-то растолкаться, чтобы вокруг было чуть-чуть посвободнее, чтобы можно было свою энергию куда-то девать. Никто не рвался во власть, наверх, никто не хотел никем руководить. Никто не хотел иметь подчиненных, кого-то эксплуатировать. Каждый хотел успеть, успеть сделать свое дело, пока им не мешали. Поэтому очень ценилось время.

Было много интересных личностей, могучих индивидуальностей. Есть маленькая книжка, там мало написано и очень скромно, это мальчик-аспирант писал, который был покорен личностью своего педагога-биолога Райковой¹¹. Она тоже преподавала у моих родителей. Райкову памирцы называли «женщина в сапогах» — она в штанах и в сапогах на лошади объехала весь Памир. Местные жители женщин, вообще-то, в сапогах не видели, — женщины в штанах должны ходить и в ичигах¹². Райкова в течение семнадцати лет, закончив сезон домашний, лабораторный и преподавательский, в начале мая выезжала на Памир и возвращалась оттуда только 1 октября. Она выезжала, у нее две лошади: одна выючная, другая под ней. Время от времени она брала себе местного проводника-рабочего. Нанимала до определенного места, потом он не мог с ней идти, потому что — слишком далеко, и возвращался к семье. Она какое-то время ехала одна, потом брала с собой еще кого-то. Памир — высочайшие горы мира, на определенной высоте даже трава не растет, это голые

¹¹ Илария Алексеевна Райкова (1896–1981) — биолог, доктор наук.

¹² Ичиги (тюрк.) — обувь, имеющая форму сапог, с мягким носком и внутренним жестким задником, сшитые из мягкой кожи или цветного сафьяна, иногда на мягкой подошве.



Первый в Ботаническом саду водоем с кубшинками.

Слева направо: Ф. Н. Русанов, Е. П. Коровин, К. Ходжаев, И. А. Райкова, Р. М. Мурзова, З. Пащенко, М. И. Землянова, Славкина, неизвестный

скалы, чуть ниже начинается растительность. Температура такая, что на солнце жарко, в тень зайдешь — уже минусовая температура, очень резко. Ночлеги тоже — соответственно. Очень много с собой не возьмешь: это горы, не говоря уже о ледниках, о том, что вообще никаких троп, и так далее. Эта женщина в одиночку за семнадцать лет описала абсолютно всю флору, и корневую систему описала, и все составила, гербарий сделала. Весь Памир — одна Райкова, — это подвиг или не подвиг?!

Я вот недавно почтала чьи-то воспоминания про Москву. Там был такой хороший врач, он ходил-ходил, лечил-лечил. А когда ему дали гонорар, он открыл конверт и пересчитал деньги. И очень удивились люди, что он так спокойно берет деньги и еще что-то считает. А он отложил

энное количество купюр себе и сказал: «Мне этого достаточно». Автор воспоминаний считает, что это — невероятно прекрасный врач, и вообще, такой весь из себя — бескорыстный. А здесь было не так, здесь никаких денег вообще никогда не брали, даже когда с голоду умирали. Наоборот, эти деньги давали тем же детям, если денег не было, давали какие-нибудь там продукты. Например, Войно-Ясенецкий¹³ — основатель гнойной хирургии — в Ташкенте был епископом и еще преподавал на факультете медицинском, на кафедре хирургии. Моя бабушка у него факультет повышения квалификации проходила. Иногда он так не успевал, что приходил на лекции со службы прямо в сутане. И вот, бабушка мне показывала, переулочек Ногина, где он жил когда-то. У Войно-Ясенецкого на калитке осталась табличка, металлическая, еще с «ятями» и «ерами». Там были часы приема, потому что он действительно очень редко бывал дома, занят был. Часы приема очень поздние, что-то с 6-ти или с 8-ми вечера. При этом черточка стоит, а до скольких — не написано, и это действительно так, к нему можно было прийти когда угодно. Было написано: для дворян — сумма такая-то, потом — для чиновников, а потом написано «для бедных людей бесплатно». И при этом, если ты чиновник, совсем не обязательно, что с тебя возьмут деньги, — ты можешь быть бедным чиновником. То есть если ты хочешь — ты платишь, а не хочешь — с тебя никто никогда ничего не возьмет. Это так и было. Потом его сослали в Сибирь, потом в Тамбов, а потом он оказался в Симферополе, в Крыму. Я знаю, уже по последующей

¹³ Архиепископ Лука, в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877–1961) — русский хирург, духовный писатель.



В. Ф. Войно-Ясенецкий

литературе, новоизданной, что на месте, где его похоронили, рядом с его могилой какой-то источник забил. Он сейчас святым считается, к нему все ходят. А тогда Войно-Ясенецкий считался невероятным хирургом. Помню, что уже в Рязани я встретила одну бабушку, которой в Ташкенте он вырезал катаракту. Она до сих пор его вспоминает и вообще молится на него, потому что — совершенно золотые руки, действительно.

Была Макеева еще, с которой мой отчим дружил до самой ее старости. Пока она не ушла в дом престарелых, сказала, что не может больше ни с кем общаться, пошла умирать. Она дожила до девяноста семи лет, в девяносто пять сумела проститься, потому что жизнь прожила и не может никого больше видеть. А до девяноста пяти она принимала аспирантов и говорила со всеми. Вот она, Макеева Екатерина Александровна, умела рисовать акварелью (что и делала постоянно), петь под гитару (хорошим голосом, хриплым пела романсы), прекрасно готовила. Она не была замужем, и Райкова не была замужем. Потому что для них просто не находилось мужчин, — это какая же должна быть глыба, чтобы с такой жить вместе?! При этом они не чувствовали себя обделенными, несчастными, они это все прекрасно понимали. У них было полно друзей, полно студентов, которые, по-моему, заменяли им детей, потому что они крутились как рои пчел вокруг этих маток. Был биолог Баранов, который, наверное, тоже бы совершил подвиг не меньший, чем Райкова, но у него началась табачная гангрена ног, и ему ноги отняли. И вот таких биологов я знаю много, которые совершали подвиги в горах, в пустынях. Некоторые создавали ботанический сад на голом месте, без всяких денег.



Е. А. Макеева (слева), С. Ю. Рожановский. 27 апреля 1960 г.

Например, был Федченко¹⁴, именем которого назван ледник. У него была жена Евгения. Эта Евгения не жила со своим горячо любимым мужем вместе в Ташкенте, а жила в Оше, где ей страшно жалко стало детей, которые не ходят в школу. Она там организовала школу. Два раза в год она видела своего мужа, иногда они вместе ездили в экспедиции. Остальное время она писала ему любовные письма, а он ей. Но жила она в Оше и преподавала там, в пяти или четырех школах. Федченко, кроме того, что он гляцеолог, был еще ботаник, пушкиновед и кто-то еще. Он назвал пик, один из тех, на которых побывал, открыл

¹⁴ Борис Алексеевич Федченко (1872–1947) — ботаник, профессор, один из организаторов краеведческого движения в 1920-е гг.

и записал, именем своей жены, Евгении. В Италии издавали карты, с этими уточнениями по Памиру, увидели «Евгения», приписали — «Санта». Как-то на семинаре в Италии, куда они наконец-то вместе поехали, узнали, что этот пик назван несколько по-другому. Они из скромности не стали говорить, что присутствует непосредственно — мадам, и он так и остался — святой Евгении.

У всех был невероятный перечень профессий, которыми они прекрасно владели и пользовались, — не было людей, которые бурили только один шурф. Это были люди, которые умели очень много и делали очень много. Даже если это не было связано с профессией, которой они предавались, то у них было какое-нибудь увлечение, которым занимались на таком не дилетантском уровне, как тот же Висневский, — он был совершенно потрясающий скульптор, и это было его увлечением. А если говорить о том, что он еще сделал, — он, конечно, был просветителем. Кроме меня, он просветил еще невероятное количество юных особ. Мальчиков он не любил, он очень любил девочек, и вот он просветил невероятное количество девочек в области музыки, античного искусства и так далее, и это доставляло ему колоссальное наслаждение.

Для нас время сплющивается, когда оно уже проходит. Пока в нем живешь, оно очень большое. Поэтому, когда случилось землетрясение, я не поняла, что закончился город. Он вообще уже заканчивался к тому времени, его моральные качества исчезали. И когда эта форма окончательно развалилась, природа устроила землетрясение, и стало понятно, что все закончилось. Изменилось такое кратковременное положение, когда этническая масса существовала в географическом пространстве и какое-то



На снежнике. В центре стоит М. И. Землянова

время они жили очень странной, удивительной, очень умной, интересной жизнью. И действительно, как с этносом, — вот он молодой, вот он повзрослел, вот расцвел, вот одряхлел и — исчез. Интересно, что при этом исчезла и материальная структура, всё место, где все жили, где всё это происходило, тоже исчезло.

Эта среда, в которой я жила, дала мне все — счастье, оправдание... И просто ощущение такой благодарности... Чтобы со мной ни творилось (в общем-то, довольно много всяких, мягко сказать, неприятностей), как бы тяжело ни было, я никогда не могла сказать, что я несчастна. Всегда говорю, и с полной ответственностью, что счастливая. Потому что у меня такое детство, за которое расплатиться совершенно невозможно.

Опальный князь

Город Ташкент был переполнен всякими ссыльными: как правило, либералами, бунтовщиками, умниками или людьми, которые не могли найти себе место, работу в империи, среди бюрократии, где пробиться было нельзя, душно было. Для полноты картины Ташкент еще имел великого князя, тоже ссыльного, то есть он был опальный, — Николая Константиновича¹⁵. Я только знаю о его ташкентской деятельности, за что он был туда сослан — не знаю¹⁶. Он был страшным либералом, он был против войны с поляками, против русификации Варшавы. Он всем хотел свободы. А в Ташкенте у него был чудесный замок, в центре города, который сделал прекрасный архитектор Сваричевский¹⁷ вместе с Гейнцельманом, интерьер ему делал Бенуа¹⁸.

У Бенуа была в Ташкенте своя история, он туда поехал, потому что был увлечен Верещагиным и его картинами. Но у него жизнь не сложилась с ташкентской архитектурной общественностью, потому что он привез

¹⁵ Великий князь Николай Константинович Романов (1850–1918) — первый ребенок великого князя Константина Николаевича, младшего брата будущего российского императора Александра II, внук Николая I.

¹⁶ Совершил кражу бриллиантов из иконостаса семейной церкви, добывая деньги для очаровательной танцовщицы Фанни Лир (Эльслер). В 1874 г. был выслан из Петербурга, в Ташкенте осел в 1881 г.

¹⁷ Георгий Михайлович Сваричевский (1871–1936).

¹⁸ А. Л. Бенуа — ташкентский архитектор, отпрыск знаменитого рода художников и зодчих. Выпускник Петербургской Академии художеств. За неблагонадежность был уволен с должности младшего архитектора, исполнял частные заказы.

свои снобистские петербургские замашки и любовь к теремной русской архитектуре. А ташкентские архитектурные замашки — совсем на другом уровне, было много прогрессивного — уже употребляли железобетонные своды, пространственную металлическую архитектуру, мосты и прекрасно понимали, что в архитектуру нужно вводить местные стилистические, и композиционные, и конструктивные особенности. Невозможно в сейсмическом районе с очень мощным архитектурным наследием отвергать типологические проблемы. Это общеизвестно, что Самарканд обладает памятниками первой величины, и до сих пор эта первая величина не стала второй; например, Тадж-Махал — знаменитое чудо света — все равно вторичен по сравнению с самаркандскими памятниками. Это прекрасно понимали, Бенуа не вписался и уехал оттуда. Но тем не менее интерьеры он сделал. Замок, в котором жил великий опальный князь, имел внешность модерна, столовая была тоже модерн с элементами псевдоготики, причем такого английского типа. Парк был засажен дубами, в нем были установлены бронзовые скульптуры собак и оленей, это все, в общем, сочеталось. И единственный момент неинтересный — это такой теремок расписной — столовая, которую сделал Бенуа, а-ля Суздаль, а-ля Кострома, вообще — утопленный град Китеж.

Опальный князь Николай Константинович отличался тем, что на свои деньги построил несколько школ, больниц, родовспомогательные учреждения и двести двенадцать мечетей гузарных (квартальных) в старом городе, где жили узбеки. Квартал разделялся на более мелкие участки (например, в Бухаре), а вместе они составляли гузар. То есть гузарная — это такая мечеть, в которую ходит весь

квартал и пользуется ей постоянно. Кроме того, что это было бесплатно сделано, таким знаком уважения к чужой религии, чужим нравам, эти мечети были не просто построены, они были еще снабжены водой, потому что при каждой мечети полагается иметь хаус (водоем). Водоснабжение естественно в такой ситуации, когда вокруг пустыня, а это тоже дорогостоящая вещь. Князь еще строил и раздавал бесплатные жилища. Это значит, он такие создавал кварталчики, где были нарезаны квартирki, одноэтажные, глинобитные, такие ячейки три метра на два метра, плюс маленькая прихожая, два на один, маленький проход-проезд и с другой стороны — кладовочки-сарайчики для каждой ячейки. Это жилье мог получить каждый бездомный. Если у него не было дома, он мог прийти в городскую управу, получить ячейку и там жить. Эти ячейки сохранились до моего времени, и я сумела в такой ячейке пожить.

Бездомных не было, кроме разве тех, кто вступал в соответствующий орден и был странствующим дервишем. А такого рода асоциальные элементы, которые к этому времени были в столице, в Ташкенте еще не успели возникнуть, поскольку капитализм и всякие фабрики-заводы только развивались и, соответственно, рабочих было не очень много. Рабочие кварталы, конечно, были далеко не так благоустроены и не так хороши, как центральная усадебная ташкентская застройка. Но тем не менее по-настоящему трущобные районы, конечно, сформировались уже перед Отечественной войной. И даже после, потому что было очень много эвакуированных людей, которые остались, не нашли себя и так далее. А потом было очень много инвалидов; я, например, в своем детстве помню, что Ташкент просто гремел колясками



Великий князь Николай Константинович с женой Надеждой Александровной в Ташкенте

подшипниковыми, на которых ездило бесконечное количество безногих людей, и была такая ситуация, когда их собирали, отправляли, очистили город. То есть люди, которые не имели дома, но имели маленький доход, могли снять квартиру или угол. А если они этого не могли сделать, они могли получить бесплатное жилье. Потом было довольно много монастырей, и вся медицина была бесплатная в Ташкенте. Она была платной только у частных врачей, и то, если ты имел какой-то социальный статус.

Если ты относился к статусу рабочего, крестьянина или служащего, то имел возможность бесплатно позвонить любому профессору, такие вывески специальные висели.

Вот таким был товарищем наш опальный князь. Он устраивал детские праздники не только для русских детей, но и для туземцев, очень много устраивал праздников у себя, в своем парке. Я не знаю, как он выглядел, его замок превратился потом в Дом пионеров, естественно, никаких портретов этого князя там уже не висело в сталинское время. А убили его в революционные ноябрьские дни 1917 года¹⁹.

Революция в Ташкенте была не похожа на революцию в Москве и Питере, и, к удивлению, она не была затяжной. Можно было бы подумать — далеко от центра, в общем-то, революционеров у нас мало, агитации тоже не очень много, пролетариата, на который опирался товарищ Ленин, тоже как-то недостаточно, только железнодорожные мастерские. Но тем не менее революция в Ташкенте не была поделена на февральскую, ноябрьскую и еще что-то. Она произошла враз, тут же — коммунистическая партия, тут же расстреляли всех, кто был сверху, тут же всё национализировали, тут же разогнали все монастыри. К январю 1918 года в Ташкенте, кроме коммунистических партий, уже не было ни одного человека, который бы владел своей фабрикой, своим заводом или своим домом. Это произошло, потому что Ташкент имел достаточно трудную связь с центром, но очень легкую связь с Кавказом. И распространение революции шло по железным

¹⁹ 14 января 1918 года великий князь Николай Константинович Романов был арестован и, по одним источникам, в тот же день расстрелян, по другим — «скончался при невыясненных обстоятельствах», по третьим — «умер от воспаления легких».

дорогам, а это — Закаспийская железная дорога и дороги внутри Средней Азии. А дорога Ташкент — Оренбург была наиболее длинная, и даже расписание поездов несколько более разреженное, чем внизу, на юге. И по Закаспийской железной дороге из революционного Баку, из революционного Тифлиса были импортированы силы, и подогреты местные революционные силы. К тому же все наложилось на восстание, которому в это время уже было четыре года.

Восстание было перманентное, оно то вспыхивало, то затихало, оно возникло в результате Первой мировой войны. До этого политика царского правительства была очень либеральна по отношению к нацменьшинствам. То есть никакие грузины, узбеки, туркмены, никакие народы с севера не призывались в армию, не мобилизовывались на фронты Первой мировой. Но — несколько государство поистощилося на японской войне и решило мобилизовать местное туземное население на тыловые работы, а это бесплатные работы. Нужно было, например, окопы рыть, боеприпасы подвозить, ремонтировать железные дороги, помогать в сооружении госпиталей, которых в это время в Ташкенте построили бесчисленное количество. Почти семьдесят процентов раненого населения и раненых солдат Первой мировой повезли почему-то именно туда, в Среднюю Азию, лечиться. Объявили мобилизацию на тыловые работы весной, когда нужно было сажать и сеять. Местная публика, не привыкшая совершенно к тому, что вместо того, чтобы сажать и сеять самим себе, почему-то нужно все бросить и идти какому-то чужому царю чего-то делать, возмутилась. И это было подогрето местным мусульманством, всеми этими шейхами, которые имели еще больше земли порой, чем феодалы. Конечно, им было не интересно, что все рабочие

руки будут работать не на них, а на какого-то чужого царя. Здесь была еще и эта сила включена, мусульманская, то есть было очень много идеологии, и местное население восстало. Подавление этих восстаний шло очень долго, перманентно. На этом деле полетели очень многие генерал-губернаторы края, потому что довольно трудно выполнять указания царя, подавлять восстание и к тому же находиться в мирных отношениях с бухарским эмиром и хивинским ханом.

Получилось так, что Средняя Азия была вроде бы вся в составе Российской империи, а два пятна, два лоскута — Хивинское ханство и Бухарский эмират — внутри русского государства. Они были на правах вассалов, то есть совершенно не подчинялись царю, и, по большому счету, у них там было все по-своему. В Бухаре до 17 года так же открывались двенадцать ворот, приходили и уходили караваны. Они не имели права только начинать с кем-нибудь войну и заключать с кем-нибудь мир, остальные права у них сохранялись. Конечно, это были таких два нарыва, которые в любой момент могли испортить всю политику. На них и опирались, собственно, англичане, когда пытались Среднюю Азию оттяпать.

Ну вот, то, что можно примерно сказать о судьбе опального князя, что он делал и как он кончил.

Землетрясение

Землетрясение — это такая штука: чем дальше во времени отходишь от этого, тем больше я понимаю — это метафизическая была вещь.

Все эти утопии, города-солнца, еще что-то, бесконечные наши народовольцы, разночинцы, Чернышевские, Толстые напридумывали какие-то утопические идеалы, которые очень хочется воплотить в жизнь и так пожить. А в Ташкенте так получилось, что (если уж совсем быть точной, то — в течение шестидесяти, ну ладно, будем скромнее, — сорока пяти — пятидесяти лет) в течение этого времени там создались такие условия, когда утопия осуществилась и люди жили в этих утопических, идеалистических представлениях, — они совпали с жизнью. Можно было жить, соблюдая вот эти идеалы, и не нужно было оправдывать себя какими-то «можно — нельзя», «получилось — не получилось». Энное количество необыкновенного, романтического, идеалистического человеческого материала, пришедшее туда, плюс удаленность всех этих жандармерий, империй, царских домов и так далее создавало такие условия. А потом начал подрастать человек толпы, о чем говорил Ортега²⁰. Этот самый средний человек начал подрастать и все заполнять. Центр города, который, собственно, и был маленьким

²⁰ Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955) — испанский философ-идеалист, публицист и общественный деятель.

таким райским местом, таким Эдемом, где утопия имела место, стал раздражать серого человека, и он стал в него внедряться. Люди, которые там жили, начали умирать, исчезать, стареть, слабеть. У них появились ученики и дети, которые старались это поддерживать. Но толпы становилось больше, обывательские идеалы становились мощнее, а центр становился все слабее. И землетрясение, по-моему, явилось итогом. Когда стало понятно, — утопии конец, утопии больше нет, идея кончилась, — случилось землетрясение, которое это самое место и уничтожило.

Землетрясение вообще было смешное, такого землетрясения нигде в мире и не было никогда. Оно случилось в шесть утра. Я пришла к девяти в институт. А из Чиланзара, из микрорайона ташкентского, приехала девочка, которая совсем не знала, что случилось землетрясение. Она ехала по центру и ничего не понимала: что у нас за местная война, почему все разрушено. Землетрясение совершенно четко взяло и разрушило тот центр, где эта утопия происходила, где в этой утопии лет пятьдесят жили люди. И оставило целым все те периферии, где как раз возник человек толпы и где он так уже хорошо устроился и довольно прилично себя чувствовал.

Было удивительное заседание, его вспомнили потом, когда прошло несколько дней. Был такой у нас Лев Тигранович Адамов, Левушка, — из тех архитекторов, которые давно ушли в администрацию, которые всегда где-то заседают, ничего сами не чертят. Он даже ручку не умел держать в руках, не то что карандаш. Он трубку курил, трубкой он и проектировал. К этому времени была достаточно приличная компания молодых архитекторов,



Кинохроника на расчистке завалов после землетрясения 1966 г.

которые очень хорошо и мощно работали, а возможностей особых не было. Им выделяли какой-то кусочек, ну, вот здесь можно построить что-то, здесь можно построить что-то. И получались такие маленькие оазисы современной архитектуры, а, в общем, развернуться было негде. И вот очередное какое-то заседание, когда все говорят — опять вот негде, для больших мыслей нет простора. Лев Тигранович встал, подошел к генеральному плану Ташкента — макету громадному, вынул свою трубку из рта, обвел вот так и говорит: «Если бы вот это взять и каким-то чудом снести, чтобы это исчезло». Сказал он это в пять вечера. В шесть утра на следующий день то место, которое он обвел трубкой, исчезло. Это — не легенда, я присутствовала на этом градостроительном заседании. Надо Львом Тиграновичем мы потом издевались, говорили: «Тьфу-тьфу, не смотри! Тьфу-тьфу, не крести меня трубкой, вообще, не вытаскивай трубку из рта, и не маши: еще чего-нибудь снесешь!» Он был замучен этим происшествием тоже, вспоминали об этом очень многие. Левушка был очень красив, высок, вальяжен, любил женщин, поэтому землетрясение такое было — очень смешное.

Оно было очень близко к поверхности, поэтому стряхнуло с земли все, а волна, которая потом продольная идет, после каждого землетрясения, была очень короткая и даже не дошла ни до кого. Конечно, кто-то слышал — что-то у кого-то покачалось, но в Ташкенте три — четыре балла — это настолько каждый день, что когда что-то где-то чуть-чуть качает, никто внимания не обращает. А здесь так все снеслось очень хорошо, при этом никто не погиб, ни один человек. Очень было интересно ходить, абсолютный театр. Идешь по улице, — фасадные стены снесены,

висят там люстры, качаются, обстановка, люди ходят, полы под сорок пять градусов, — совершенно театральная декорация. И еще ташкентское землетрясение было изумительно тем, что там совершенно не было мародерства. До этого, в 1948 году, в Ашхабаде было чудовищное землетрясение, с массой жертв человеческих, и там было массовое мародерство. А в Ташкенте мародеров не было совсем. Наоборот, как бы напоследок эта ойкумена утопическая что-то из себя выдохнула прекрасное. Люди приехали со всех сторон, весь Советский Союз был послан помогать Ташкенту. Все ходили и удивлялись: все были братья, все любили друг друга, все кормили друг друга. Там у всех стояли на улице керосинки, керогазы, мангалы, на них готовили. Никто даже не предлагал эту еду проходящим, а просто люди останавливались, садились, ели, говорили «спасибо», уходили дальше, совершенно незнакомые.

Знаменитый журналист Песков, мы над ним хохотали ужасно. Он такой очерк устроил, что... (в общем-то, аэродром в Ташкенте был почти в центре города, совсем недалеко): «Я прилетел в этот город, который так пострадал...», там какие-то такие фразы, которые я повторить совершенно не в состоянии, но, в общем, выжимающие слезу сразу, с первой строчки. «И под заунывный крик муэдзина...» Он ишачка какого-то тут же увидел на аэродроме, который чего-то улыбался ему. И муэдзин ему кричал, а чтобы в Ташкенте услышать это — нужно очень постараться. Это нужно приехать в старый город, найти минарет в нужный час, и у муэдзина голос, вообще-то говоря, довольно хлипкий, хотя и заунывный. Правда, он не мог найти ни одного человека, который помер бы от землетрясения, чем он был очень недоволен.

Животные там пострадали, но тоже — смешно²¹. Страдать люди начали уже летом, когда было очень жарко, пыльно, были трудные бытовые условия, и умирали люди, у которых было просто плохо с сердцем, были инсульты, еще какие-то вещи. А так это было потрясающее время, когда все были счастливы. То есть о Ташкенте, о ташкентском землетрясении все, кто туда приехал помогать, потом говорили. У меня довольно много знакомых архитекторов московских, которые туда приехали на два — три месяца, просто интересно, просто подработать. Приехали всякие седовласые архитекторы, которые в Москве, в Питере сидели в подмастерьях, а им хотелось своей, авторской работы. Они ее получили, конечно. И вот, они приехали на три месяца, потом остались еще, потом еще, и очень многие жили там до десяти лет. Они не могли расстаться с городом, с горами, с этой обстановкой коммуны, настоящей, идеальной. Очень часто я от Кротовой это слышала, от Орловой²²: «Это были лучшие годы моей жизни». Они были наполнены такой работой, бескорыстной, очень напряженной, очень яркой, причем в компании людей веселых, вечерами пьющих, ночами работающих. Зарплату так получали: выдвигался ящик стола в отделе, и бухгалтер складывал туда деньги, которые получил на весь отдел. Никто не брал этих денег себе, просто ящик отодвигался, и на эти деньги покупалось вино, еда, еще что-то такое.

²¹ Наша кошка, по рассказам, нашлась к обеду, когда понадобилась сковородка. Кошка сидела в пустом ведре на террасе, сверху плотно прижатая упавшей сковородой, и первый звук издала, только когда ее освободили. После этого долго не заходила в дом (*прим. А. У.*).

²² Московские архитекторы.

Древний Мерв

Древний Мерв — буквально несколько слов. Города, если взять средние века, XII—XIV века, самые большие города были на Востоке, где-нибудь на границе с Персией. Они включали в себя от двухсот до пятисот тысяч человек, а древний Мерв иногда имел население до миллиона. Даже не древний, а средневековый Мерв имел то ли двенадцать, то ли четырнадцать очень крупных библиотек. Он находился на юге территории теперешней Туркмении, в районе Кушки. То, что это место очень древней цивилизации, понятно по остаткам оросительных сооружений, которым две тысячи пятьсот — три тысячи лет.

До сих пор, например, там сохранились такие сооружения, загадку которых отгадывают-отгадывают, но — гипотез много. Это каменный купол, в который есть вход и у которого есть дырка вверху. И там всегда, в любую жару (в пустынной местности они расположены) не больше девятнадцати градусов тепла. Если на улице сорок пять в тени, то там очень холодно. Они достаточно большие, но не настолько, чтобы предположить, что там отдыхал скот. У Нильсена²³, которому я больше всех доверяю, есть предположение, что это — конденсаторы влаги. Поверхность внутренняя этого каменного свода всегда мокрая, по ней даже стекают капельки воды.

²³ Владимир Анатольевич Нильсен (1918–1994) — историк архитектуры, доктор наук, профессор.

В пустыне при разнице температур возникают такие конденсаты, там еще есть каменные углубления, как бы лужи. Может быть, это очень древнее сооружение для сбора воды. Даже сейчас по карте, по остаткам видно, насколько там была сложная система оросительных каналов. А это уже научный факт, что оросительные системы Египта гораздо более сложные, интересные и заслуживающие большего внимания, чем пирамиды. Потому что это все равно сложнее сделать.

Это место очень древней цивилизации, там зародился зороастризм, там написана книга Авесты. Там были библиотеки гораздо более мощные и более насыщенные, чем знаменитая Александрийская библиотека. И когда туда пришел Александр Македонский, он не то чтобы культуру принес, а он пришел в страну, которая в это время уже угасла. Но цивилизация там была колоссальная. Потом там было еще несколько всплесков культур — во времена кушан, во времена Мавераннахр. Древний Мерв, вообще-то, не раскопан до сих пор, он еще ждет своих исследователей, а то, что там раскопано, крайне интересно. По крайней мере, те образцы античности, которые он дает, — очень высокие образцы, и сейчас в литературе кое-что есть. Сейчас этим начинают заниматься англичане вместе с французами и с туркменами. К сожалению, они совершенно не опираются и не говорят о предыдущих исследователях, что не этично, на мой взгляд, совершенно. Да просто нерационально, потому что, если бы они на это опирались, они потратили бы меньше усилий, и начали бы с площадки стартовой гораздо более высокой.

Это такая территория: Каспийское море, рядом с ним раньше было Аральское море. В Аральское море втекают две реки: Сырдарья и Амударья. Сырдарья — река,



В. А. Нильсен

которая отделяет степи кочевые от оазисов оседлых. Между Сырдарьей и Амударьей лежит пустыня Кызылкум. Ниже, на Амударье, лежит пустыня Каракумы. На нашей границе тогдашней, советской, Каракумы и была та самая пустыня, граничащая с Ираном, Афганистаном, а далее уже идет Пакистан и Китай, если следовать границе к востоку. А вот низ Каспия — это как раз Ирак, а потом Афганистан, и там река Мургаб, которая является

еще и естественной границей водной. То есть вот там и находился древний Мерв. Достаточно известно Парфянское царство, известно государство кушан, очень мощное государство, с его знаменитым царем Канишкой. До этого были эфталиты, еще что-то, довольно много. Но вот как называлась та цивилизация? Она настолько же не имеет названия, насколько не имеет названия цивилизация в Индии, которая оставила после себя тоже колоссальный заброшенный город. Остался город, но как называлась цивилизация, никто не знает. То, что там была цивилизация, свидетельствуют раскопки, которые хоть небольшие, но были произведены. Раскопки колоссальной оросительной системы, которая там работала и действовала до тех пор, пока ее окончательно монголы не изничтожили. И даже они не смогли до конца ее уничтожить, она работала до тех пор, пока ее не уничтожили коммунисты, построив великий канал имени Сталина. Вот тогда она совсем перестала работать, а Рашидов²⁴ с Брежневым окончательно засолили всю почву, поскольку им хлопка очень нужно было много. До этих всех усилий она, в общем-то, работала.

Требуются раскопки, хорошие, настоящие археологические раскопки. Археология — молодая наука, ну что ей там, — двести пятьдесят лет. Вот сейчас начинают копать Иорданию, только начали, потому что мусульманство просто запрещало копать землю. И я думаю, что когда это раскопается, будет связка та, о которой говорит Гумилев²⁵. Совместится, наконец, сетка связей и хронологических,

²⁴ Шараф Рашидович Рашидов (1917–1983) — советский партийный и государственный деятель, с 1959 г. первый секретарь ЦК КП Узбекистана.

²⁵ Лев Николаевич Гумилев (1912–1992) — историк, создатель пассионарной теории этногенеза.

и культурных, и тогда, наконец, Европа, может быть, поймет, что эта часть Востока, она и была ойкуменой, а вовсе не сама Европа, и не Греция, и не Рим. Потому что это все-таки периферия великих цивилизаций, на самом деле, — Греция и Рим.

На мой взгляд, надо рассматривать просто с разных точек зрения. Например, Вавилов Николай²⁶ там, именно там, и нигде больше, нашел пшеницу, нашел все зерновые, которыми питается человечество, все фрукты, которыми питается человечество, именно там, и мы обязаны Америке только картофелем, кукурузой и томатами. А хлеб, то, что основа человеческой жизни, это — Иранское нагорье. Больше он нигде в своем первоначальном диком виде не растет, ботанические сведения тоже говорят об этом. Человечество не может развиваться вне, непонятно почему и как. Во-первых, горы всегда котел всех этносов. Во-вторых, климат, солнце, вода, хлеб. А любая ирригация, любая мощная система ирригационная подразумевает под собой великую империю, великое государство с очень мощной структурированной системой, потому что невозможно представить, что распределение воды, эти колоссальные работы, можно сделать иначе. То есть действительно должны быть системы контроля, слежения, распределения колоссальные. Достаточно яркий пример — Египет, который ближе по возрасту и который дает для этого какие-то возможности.

²⁶ Николай Иванович Вавилов (1887–1943) — ботаник, растениевод, генетик, географ, создатель научных основ селекции.

Защита Азии

Я прочитала в первом номере за 2003 год «НоМИ» статью «Тайны подземной мечети» и месяц уже мучаюсь оппонирующими монологами. Первое возмущение улеглось, осталась горечь и боль.

Вся статья, насыщенная экзотами, у знающего человека может вызвать недоумение от притянутых за уши аналогий, достаточно вульгарной легенды, причисления себя к самым-пресамым великим буквально через запятую и просто ошибок.

Но больно-то оттого, что читатель, мало знакомый с культурой и историей Срединной Азии, уж совсем убедится в ее периферийности, а может, к несчастью, и запомнить что-то из этой нелепицы.

Моя тревога и огорчение двойного происхождения. Первое: моя Родина — Средняя Азия, город Ташкент. На архитектурном факультете (который я закончила) лекции по истории архитектуры нам читал В. А. Нильсен, ученый с мировым именем (крупные античные комплексы Афрасиаб и Варахша открыты, изучены и введены в науку экспедициями под его руководством). Я была в экспедиции с археологом-искусствоведом Г. А. Пугаченковой в Туркмении. Мы слушали лекции Массона, Ремпеля, Булатова, видели коллекции из раскопов, порой привлекались к графической реставрационной работе. Мои родители — ботаники, папа занимался морфологией пустынь, кормовой базой пастбищ, с ним я была

в Кызылкуме, под Бухарой, с мамой в Тянь-Шане. Я любила эту землю и старалась ее узнать. Эта страна с древней и богатой культурой, перенасыщенной уникальными памятниками. Так что, когда рядовое сооружение перечисляют в одном реестре с пирамидой Хеопса и мечетью Амара, это говорит только о бедности, убогости страны, уязвленном национальном сознании. Ну, не было у казахов архитектуры, не было — как у всех кочевых народов. Это не умаляет достоинств народа, у каждого свой путь и свой вклад.

Второе: я — русская. И мне не стыдно, а гордо и достойно за роль русских в Средней Азии, Туркестане. Колонизация этого края полярна колонизации, например, Америки и по целям, и по способам. Колонизация — это всегда экономическая выгода для метрополии, а миссионерство — насильственное внедрение ее религии. Здесь же обратное. Туркестанский край находился не просто в стагнации, а в тяжелейшем и затяжном кризисе. Россия вкладывала сюда не только деньги, самое главное — сюда приезжали специалисты. Поднималось и возрождалось все — экономика, культура. Заново создавалась система образования, медицина, инженерное дело и пр. Православные храмы строились, но в православие никого не обращали. Наоборот, восстанавливались мечети, реставрировались, изучались памятники мусульманской культуры. Собиралась и записывалась народная музыка, русский алфавит стал основой для создания письменности и, в дальнейшем, литературы кочевым народам. Моя бабушка была детским врачом. И я знаю о русских врачах не понаслышке, я видела и слушала этих людей, которые уничтожили «ришту» в Бухаре, остановили чуму, создали лепрозории для прокаженных. Я видела и слышала

учителей моих родителей, которые почти в одиночку и почти без денег описали флору Памира и Тянь-Шаня, создали глициологию, занимались селекцией. Бесконечно много можно сказать о роли России в восстановлении самой жизни на этих землях.

Сейчас идет болезненный и во многом лживый (адресно выгодный) процесс переписывания истории как бы «обиженными» народами. Мой родной Узбекистан начал теперь свою историю с Тимура-Гамерлана. Это все равно как если бы Россия начала свою историю с Екатерины Великой, пришедшей императрицы, похерив все, что до нее. Надеюсь, что когда эта пена уляжется, истина увидит свет. Жаль, что потерь невозможных будет много. Потому, может быть, так невыносимо невежество. Ведь столько ученых, путешественников с мировыми именами изучали, описывали, жизнь клали, поднимая край из руин, они объяснили и показали народу, на какой древней и богатой земле он живет, какой культурой обладает. Пока в библиотеках есть еще Бартольд и Толстов, Массон и Пугаченкова, Ремпель и Воронин... Непонятно, как музейный работник, имеющий доступ к информации, пишет оттуда — *так, о таком и в таком* стиле.

Далее по тексту: «Родился он в 1750 году...», «учился в одной из медресе Хивы, где в то время набирало силу мистическое учение суфизм». В исламе мистическое течение суфизм зародилось в восьмом веке. Суфизм стал распространяться в Маверанахре во второй половине X и начале XI века. В это время оно приобрело законченную форму, сложилась организация суфийских орденов. Суфизм в Средней Азии дал два основных течения. Основатель школы — Юсуф Хамадани (XII в.). Оба направления

связаны с именами его учеников: Ходжи Абдулхалика Гиждувани и Ахмада Ясеви Ходжи (ум. в 1166). В это же время суфизм получает частичное признание со стороны ортодоксального мусульманского духовенства, которое до XI–XII веков не признавало и преследовало суфизм как ересь. Тем не менее ни в одном медресе суфизм не преподавался и не изучался, и тем более не «набирал силу». Силу суфизм набирал тогда, когда начинался общий спад экономики и культуры. И понятно почему. Ведь основные тезисы: отречение от мира вещей, призыв к аскетизму и умерщвлению плоти, проповедь смирения и покорности, предопределенности судьбы. А в XVIII веке между Бухарским и Хивинским ханствами шла непрерывная борьба. Обучиться суфизму можно было, став учеником старца-наставника (пира). Существовали и до сих пор существуют (Пакистан, например) суфийские монастыри-ханаках, где и проходила жизнь общины с очень жесткой дисциплиной, в абсолютном подчинении воли ученика наставнику. Основы учения — сочетание идеалистической метафизики с системой психофизических упражнений, аскезой, это учение о сокровенном знании, приближении к Богу и слиянии с ним. Способы: экстатика, гипноз, отказ от логического и эмпирического познания мира, познание путем «озарений». Один из тезисов — странствия по родине, отсюда — дервиши. Так что еще раз: в медресе Хивы можно было учиться только ортодоксальному исламу.

О «борьбе казахов с калмыками»: в исторической литературе принято называть это борьбой с джунгарцами, или Чжунгарией. Три монгольских племени ордами ушли из пределов Китая — Чжунгарии и достигли берегов Волги (1630). А в 1771 году громадной ордой двинулись обратно.

Разлив Волги не дал присоединиться тем, кто жил на правом берегу. Дошли до Китая немногие, а оставшиеся получили название «калмыки», то есть — отделившиеся, отставшие. «Калмыки» же, живущие в Семиреченской области, так и называются джунгарцами.

Далее по карте. «Первую (*мечеть*) он построил в Кульсарах..., вторую... в 20 километрах от нынешнего поселка Бейнеу, третью... на плато Устюрт, и... мечеть Огланды — находится в 200 км от нынешней столицы нефтяников Жанаозена». Кульсары и Бейнау находятся между Каспием и Аралом на дороге, соединяющей Хорезм и Волгу, южнее плато Устюрт. Суфий двигался с севера на юг. И если первые две мечети находятся на землях Казахстана, то уже плато Устюрт входит в казахские владения только частью, часть его — туркменская, часть — на территории Хорезма. Живут здесь казахи и туркмены, узбеки и каракалпаки. Огланды же находится между Небит-Дагом и Красноводском на территории Туркмении. Причем эта территория никогда не принадлежала казахам, но — Парфии, Сельджукидам, туркменам. Может, конечно, существовать монастырь на чужой земле за «200 км от...». Но честнее указать конкретную местность. Ведь примерно столько же до Нишапура (Иран), где и возникла школа суфизма.

Цитата: «Невероятно, но факт — вырубленные в меловых породах семь комнат точно повторяют расположение комнат пирамиды Хеопса». Все наиболее грандиозные пирамиды Египта были воздвигнуты в период Древнего царства (III–VI династии, около 2800–2400 годов до н. э.). К этому времени совершенно сложилась система погребальных сооружений, тесно связанная с погребальным ритуалом, принявшим устойчивые формы.

Архитектурный ансамбль состоял из нижнего и верхнего поминальных храмов и пирамиды, все окружалось прямоугольным двором. Погребальная процессия шествовала из нижнего храма в верхний и затем в пирамиду. Внутри пирамиды, за исключением погребальной камеры и коридоров, кладка была сплошной. Сама камера располагалась в центре пирамиды. Для облегчения давления огромной массы над потолком в нескольких рядах кладки оставались пустоты (что подтверждено последующими эхo-исследованиями). Нет в науке никаких данных о семи комнатах. Некорректно это и по другой причине: назначение египетской пирамиды — гробница, назначение мечети, монастыря никак не связано с заупокойным ритуалом. Для этого предназначены другие сооружения — мавзолеи, мазары. Разные по функциям сооружения не могут привести к одной типологической схеме.

Далее в тексте: «Возможно, дело в том, что символика суфизма унаследовала многие мистические символы древности, в том числе и египетских жрецов». Египет к этому времени был уже совершенно арабско-мусульманским. В буквальном смысле был засыпан песком Древний Египет, где существовали зарывшиеся в землю христиане-копты. Но заново и мир, и сами египтяне начали узнавать о пирамидах после Наполеоновских походов. Так что мистика приходила с востока, а не с запада. Известно, что новые религии или их течения вбирают в себя частично аборигенные культы, верования или замещают их собой. Народы, населявшие эти земли, исповедовали до тотальной исламизации зороастризм, христианство-несторианство, буддизм, индуизм, кочевники — шаманизм, языческие культы. Долее всех продержался зороастризм (Авеста), его осколки встречались на территории теперешней

Туркмении еще в первой половине XX века. И вот его влияние, так же как индийская практика психо-физических упражнений, аскезы и отшельничества, прослеживается в суфизме довольно ясно.

Дальше: «Не вызывает сомнений, например, что Огланды выполняла роль обсерватории». Жаль, что «не вызывает». При том, что в уставе суфизма определено, что познание мира должно происходить интуитивно, путем озарений и просветлений. Наблюдения за звездами? Эмпирика? И для чего? — «точные прогнозы погоды, ...время откочевок на джайляу». — Откочевать на джайляу может любой табунщик без обсерватории и пророка. Все зависит от степи и от весны (поздняя — ранняя, сухая — влажная). Дороги кочевий, колодцы, пастбища определены и выверены годами, кочевое стойбище в день снимается и уходит. Но эти прогнозы тем более не нужны, так как в тех местах, где жил и строил свои мечети суфий, нет никаких джайляу. Они, эти высокогорные пастбища, называемые джайляу, совсем в другой стороне, на Тянь-шане и Алатау. Да, там казахи занимаются откочевками, но это уже другие роды. В степи границ нет, межевых столбов нет, но все поделено, определено степным уложением, и это незыблемо. Иначе — мор или война. Кочевки шли по определенным степным путям, направление которых для каждого рода было освящено временем и обычаем. И если на джайляу отправлялись на летовку, то у родов, живших в Прикаспии и Приаралье, кочевки распределялись по временам года: весенняя — в первых числах февраля, летняя — в начале мая, осенняя — в течение августа и зимняя — в ноябре. Тем более что для верблюда и барана нужен солончак, и это только европейскому взгляду кажется, что степь и пустыня безжизненны,

они от века — пастбища (дело в том, что по питательности эта сухая трава много калорийнее сочной травы заливных лугов).

И уж лучше бы вовсе не упоминалась в статье «обсерватория». Улугбек (1394–1449), правитель Самарканда, внук Тимура, энциклопедически образованный человек, построил обсерваторию, которая по размерам и оснащённости превосходила все подобные обсерватории того времени. Созданные Улугбеком знаменитые «Гургановы таблицы» оставались непревзойденными по своей точности двести лет и использовались до конца XVIII века. Политика Улугбека, покровителя наук и просвещения, вызывала сильную оппозицию мусульманского духовенства, в 1449 году Улугбек был убит, обсерватория разрушена. Причем убит он был именно послушными суфийскими учениками-муридами.

Далее: «подземная мечеть Бекет-ата стоит в одном ряду с такими памятниками цивилизации, как мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и мечеть Амара в Иерусалиме». Оставим мечеть Амара как более известную и обратимся к «мавзолею» Ходжи Ахмеда Ясави. Это, правда, не совсем мавзолей, а дворцово-храмовый комплекс или мавзолей-мечеть, как ее иногда называют. Комплекс был построен в городе Туркестане (тогда Ясы) в 1389–1399 годах. Его возвел Тимур, стремясь привлечь на свою сторону кочевых узбеков и укрепить мусульманство в их среде. По оси комплекса за входным порталом расположен центральный купольный зал. По сторонам находятся мечеть и большой ак-сарай, в порталной части библиотека, кухня и прочее. За мощным кубическим объемом зала с громадным куполом (диаметр восемнадцать метров) следуют меньшие купола мавзолея и мечети.

Масштабность здания подчеркивается крупным геометрическим и эпиграфическим орнаментом из изразцовой мозаики на стенах. Конструкции купольных покрытий великолепны, в качестве декора использованы сложные лепные сталактиты, сплошь заполняющие купола зала, мечети, паруса гурханы, изразцовые панели и росписи золотом по ультрамарину в интерьерах. Сооружение это грандиозно, как и все, что было построено в эпоху возвышения Тимуридов. Настолько грандиозно, насколько бывают постройки времен расцвета империй и деспотий, когда и власти, и денег — всего в изобилии. И сравнивать подобные сооружения с горным монастырем невозможно, даже если теперь город Туркестан находится на территории Казахстана.

Подобных монастырей было много; их строили, когда религия, в них исповедуемая, расходилась с государственной; тогда необходимая укромность диктовала и удаленность от центра, и аскетичность самой постройки. Да, конечно, описываемая мечеть интересна, бесспорно, надо и изучать, и сохранять подобные памятники. Но нельзя так путать все — идеологию, связи, масштабы.

Проверить мои утверждения можно, используя следующие источники:

1. Всеобщая история архитектуры. Т. 1, 8;
2. Философская энциклопедия;
3. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона;
4. Географический атлас;

а также труды искусствоведов, этнографов, ботаников и путешественников (их много и они известны).

Галина Николаевна Успенская (архитектор)

20.05.03

ДВОР



Дворы

В Ташкенте жили дворами.

Не коммуналками и колодцами, как в северных столицах, а дворами, как в южных.

Но если дворы Тифлиса и Одессы можно сравнить — они малы, дома, их заключающие, двух-, трех-, а то и четырехэтажные. Выходящие во двор галереи, изобретательность лестниц, ползущих наверх...

Почти всех видно, а слышно — всех.

Дома ташкентских дворов одноэтажны, вторые, третьи, седьмые этажи — деревья. Они громадны, плодоносны. Внизу всё в движении, перекраивается, пристраивается, притирается. Скудость средств и необходимость иметь крышу над головой создали фантазмагорию форм, материала, цвета. В основном это все дореволюционная, колониальная застройка, где каждый дом имел громадный сад, который заселился и превратился в двор.

Какой это восторг для детей — двор! Он бесконечен, в нем горизонтали дорожек и грядок освоены так же, как вертикали заборов и деревьев.

На деревьях можно висеть вниз головой, там можно устроить «штаб», спрятаться так, что никто не найдет и не узнает, что ты ревел, оттуда можно прыгать «кто выше» или «кто дальше». Можно летать на веревке, как Тарзан. Можно набивать себе оскомину незрелым коксултаном и наслаждаться почти спелой черешней. Можно насшибать незрелых орехов и ходить потом с коричневым ртом и руками.

На этих этажах не бывает взрослых.

Внизу тоже интересно. Там азарт — «чтоб никто не увидел». Столько зелени, арыков, кустов, сараев, садиков, ничейных заросших задворок, что можно раствориться целой компанией.

Так что дворы Одессы и Тифлиса все-таки немножко клоаки, а дворы Ташкента немножко оазисы.

февраль 2003 г.

Соседи

Виктор

Сначала появлялся часто. Улыбался много, очень больно гладил по голове против зачесанных и туго заплетенных в косички волос. Улыбалась в ответ, стараясь не показать, что больно, изо всех сил удерживаясь от слез. Его нельзя обижать. Очень жалели бабушка и мама. «Контуженный». Страшен череп, бритый, во вмятинах и шрамах, как бы из кусков заново и спешно слепленный. У него были «припадки», тогда прибегали за бабушкой, и она уходила. Надолго. Во дворе его все жалели, всё прощали. И никто не дразнил и не шутил. Как-то вошло: «...жизни не видал ..ушел мальчишкой ...не пожил еще». И потом, когда лицо его стало большим, грубым, тупым. А глаза из добрых стали маленькими, бессмысленными и злыми, и он уж не тянулся погладить, а замахивался. Старались (дети) увернуться, не попасться. Но не жаловались и вслед не кидали ни камня, ни слова. А потом его увезли в психбольницу. Мама плакала, приходила к бабушке сестра Мила и слова: «ничего не поделаешь, не поможешь, теперь бы уж поскорей, тебя замучает». Но вышло — не скоро, и долго, еще долго Мила навещала уже никому не видимого Витю.

Панкратова (его мама). Грузная, серо-седая женщина. Никогда не была у них. Потом ее не стало. Для меня не памятно. Заходили к себе со двора, крошечная терраска, увитая виноградом. Потом, когда ни матери, ни Вити, появилась Мила с двумя детьми и стала жить с парадного.



А. Беневицкая, август 1956 г.

Тетя Шура Беневицкая

Сидела в очках над пальцами перед окном. Волосы на прямой пробор, зачесаны на уши. Красивое лицо, породистое, а глаза выдают несоответственное, несообразное развитие. Работала на фабрике «Уртак». По детству —

конфеты (с красным стрептоцидом). Еще сундук, изнутри оклеенный «кетками» (обертками) конфет. Зеленая кетка, на ней коричневая белка катит срез ствола. Но это (так все уверяют) — орех. И мои упражнения — беть кать оесь — белка катит орех.

У нее была пеллагра. Поэтому такие ноги. И она уже не может работать и вот вышивает. Гладью. А потом ходит на рынок, всегда один и тот же, — продает.

И дочь Рита. Всегда весела, голодна, нахальна, сидит на вишне, орехе, урюке (что зреет в данный момент) и поет. «Учиться не хочет». Это из дворовой характеристики. Так и осталось — три класса. Потом стала ходить на танцы в «училище». Информация дворовая. Разница у нас то ли в двенадцать, то ли в тринадцать лет. Когда перила «нашей» террасы стали обсиживать военные, моя бабушка ввела свои войска. Терраса очистилась, и моя мораль перестала подвергаться. Но помню, что мне очень нравились эти погоны. Потом Рита исчезла. Вышла замуж. Тетя Шура стала плакать. Потом стала приходиться Рита и тоже плакать. Мама ее кормила. Это ее утешало. Стал появляться необыкновенно красивый мальчик — Толик, сын Риты, очень на нее похожий. А потом Рита уехала в Москву. (Но это уже биография ее, а не двора. Вышла замуж за сына Грамши — Юлиана — флейтиста московского театра, родила Олю, разошлась, пела, чертила, снова пела, влюбилась в финна, рассталась с ним, но не с Финляндией, по разговорнику выучила финский, соорудила мечту — выйти замуж в Финляндии, и пятидесяти трех — пятидесяти четырех лет осуществила эту мечту, а потом туда же перетянула и Ольгу). Захаров (отец Риты) — дворянин, застрелился до войны, почему — не знаю (со слов моей мамы).



Л. А. Болгарина (рис. Успенской)

Болгарина Лариса Александровна

Родилась в 1906 году в Коканде. Отец — дворянин. Брат младший. Мать — Болотина Любовь Ивановна. Банковская служащая. Из Коканда бежали в 1918-м. Отца растерзали в банке, на службе. Младший брат умер от тифа уже в Ташкенте. Мать — полная, властная, рьяно, напоказ выказывающая свою преданность христианству и не по-христиански притесняющая дочь. Работала в Госстрахе. Лариса мечтала быть врачом. Из-за дворянского происхождения не приняли. Окончила бухгалтерские курсы. Жила в Москве, с мужем. Во время войны

эвакуировали институт в Ташкент. Снова оказалась в родительских объятиях. Мужа убили. Всю жизнь работала бухгалтером. Врожденная щепетильность. Атеистка.

Любовь Ивановна в своем садике располагалась за круглым столом преважно. Не церемонилась в определениях, громогласная, бестактная просто абсолютно. Зазывала нас с Анькой и читала нам «божественные» рассказы с ярко выраженной моралью. Чувство: делаем что-то запрещенное. И более сильное: всё — неправда, и — отвращение, как от несвежего пирожного. Любила черных тараканов. Кормила их хлебом и молоком. Верила, что к деньгам, и проедала последний, увезенный из Коканда ковер. Тараканы жирели, превращались в особей с ВДНХ и заселяли наш чулан и террасу, где не просто шуршали, а топали ножищами. Умирала тяжело и долго от «панцирного» рака груди. Я представляла себе черепаху вместо груди — и поэтому так медленно. Потом повели прощаться. Кожа в разрезе сорочки была просто воспаленно-красная. Похорон не помню.

Ларису из садика выселила Михри — кусочками, этапами, нахрапами и просто пинками. Но это потом уже, когда все коммунарское исчезло из быта дочиста. Лариса вывела тараканов, навела чистоту, вполне в духе несостоявшейся медицинской мечты, а потом, когда уже родился Антон, привязалась к нему и нам всей душой.

Ренальская Т. И.

Пела. Работала в школе. Ученики. Мигрени. Кошка Вики.

Сирота. Пьяный, ожидал ее, спал на крыльце.

Шарик победил Вики.



Т. И. Ренальская

Ашхабадское землетрясение. Мама держала буфет. Звон посуды. Меня, закутанную в одеяло, вынесли на террасу. Ренальская — с зажженной керосиновой лампой среди удачно развалившейся в разные стороны своей нижней комнатки. И поет сиреной: «а-а-а-а-уу-ау-у-а-а!», по восходящей. И в ночном пеньюаре. Первое «оперное» впечатление. Дядя Артур был послан на нее и справился. Во времена своего ташкентского в 1966-м ее надежды на развал не сбылись.

Постоянно говорила колкости. Гадкие. И мыла ведра, и полоскала белье. И завидовала маме. Первый ужас, детский такой, когда никакого выхода нет. Когда ее любимое упражнение в гадких двусмысленностях и эзоповых издевательствах кончилось совершенно неожиданным для меня — «дура». Ее торжеством — мое наказание неминуемо. А у меня не это, ужас — взрослому «дура», — настолько небывало, но (внутренне) — справедливо. А наказание было, — не связывайся. Но месть была долгой и отозвалась мне в пятом классе, то есть десять лет спустя (филимоновские тетки).

Добол Артур Мартынович

Эстонцы. Сестра Мильда. Жена Софья Михайловна — дочь разгромленного где-то священника. Лицо с профилем Ивана Грозного и красивой смуглотой, глаза обведены темным. Неожиданно хрипло, некрасиво смеялась. Дочь Лариса от первого мужа. От Артура — сын Женька, слабоумный. Необыкновенно яростное упорство в жизнеустройстве. Несколько лет учила (почти каждый день) Женьку на аккордеоне играть «На сопках Маньчжурии», выучила. Каучуковая подошва и панбархатное платье.

Аристова

Гордая, с прямой спиной, горбоносая. Очень бледное, как белой пудрой запудренное лицо. Часто стояла на крылечке своей комнаты-щелки. На приветствия отвечала без улыбки, но глаза смотрели прямо и приветливо. Ни с кем не дружила. На коллективные собрания приходила, всегда молчала. Было как-то понятно, что она так устала и так — не отсюда, что ее уже ничего не тронет. Жизнь без кухни, без детей, безо всего. Это ее внимание ко всему как бы над-, вскользь.

Я никогда о ней ничего не спросила у мамы. У нее ничего не было, и нужно ли ей что-нибудь было? Если и нужно, то что-то такое, что не из житейского перечня. И она даже не умерла, ее не хоронили, но и не провожали. И никто не знал, куда она исчезла в 59–61 годах. Мой единственный о ней вопрос у ближайшей соседки, имеющей с ней смежную, закрытую, но не заложенную дверь, — куда? — остался без ответа.

А порода чувствовалась вековая.

P. S.

Уже много позже к знанию, что дом весь был наш, что Ренальская живет в ванной и туалетной, Беневицкая на кухне, Болотина в гостиной, Миллеровы в столовой, а мы в Зеленой гостиной и что двор был, вообще-то, сад, до самой Пушкинской (на его территории в мою бытность располагался детский сад, бензоколонка и куча домишек, военных и послевоенных), и были фонтаны, и были скульптуры. К этому почти безопасному знанию, детскому, позже, уже в моем студенчестве, прибавилось знание, что «у дяди был кожевенный завод, сады, куда и выписан был мой отец» — мамина фраза. А вскоре после рождения

Антоня мы с мамой вместе зашли в нашу угловую аптеку за очередной порцией укропной водички (уже забыла — пятая или седьмая была аптека?), и мама так задумчиво: «эта аптека была дядина, да еще он вместе с Тумановым имел мукомольную фабрику и все мечтал клубнику выращивать, с ней ничего не вышло». Вот эта-та фамилия Туманов и была, судя по всему, ключом к разгадке его гибели²⁷.

1992 г.

²⁷ М.А.Туманов — инженер, в конце XIX в. оставивший военную и перешедший на гражданскую службу, компаньон Т.К.Землянова по дореволюционным торгово-коммерческим делам, причем его участие имело какой-то нечистоплотный оттенок. Никаких подтверждающих фактов нет, кроме косвенного: во время ташкентского землетрясения 1966 г. из развалившегося подвала тумановского дома вытаскивали тяжелые старые кресла с монограммой Т. К. Землянова (*прим. А. У.*).

Из дома

Все детство я бежала из дома. Завидовала Тому Сойеру — у того были и Миссисиппи, и пещеры, и страшный индеец, но главное — у него был Гекльбери Финн. А у меня, к несчастью, а вернее, к счастью, его не было. Иначе намеченное осуществилось бы. Все было размыто, неточно — куда, каким способом, с кем? Единственное, что определено нужно, — сухари, ножи, крючки для рыбы, сетки для птиц.

Из детского сада увела какую-то девчонку, пообещав ей райские куши — вдоль арыка, сплошь заплетенного диким огурцом, дошли до обсерватории. Арык нырля под забор, перегороженный металлическими зубьями, рядом были закрытые ворота и открытая калитка. По законам жанра, на территорию, где было обещанное «нечто», нужно было проникнуть именно руслом арыка, на преодоление чего я и отправилась. Когда я крепко сидела подолом платья на зубьях решетки, а сандалии были в воде, я решительно погрузилась в воду по горло, отцепила себя и оказалась по ту сторону, я выбрала удобную позицию, чтобы помочь соратнице. Увы! Увидела я уже только спину и довольно далеко. Мало того, эта «Финн» еще и прямиком отправилась к заведующей, где все изложила. Я с трудом узнала сюжет в ее изложении — бедная была жертвой, которую хотели завести в дебри и там каким-то изощренным способом замучить.

С Анькой Купреевой получилось лучше: была разбита гипсовая кошка, взят зонтик, сухари, добрались до вокзала, засели на открытой платформе с сенной трухой, под которой спрятали мешок с деньгами и доехали аж до Бостандыка. Потом Анька начала проливать моря слез, хотя я везла ее, точно зная, как дойти до пустующего дома в кишлаке Шунгак. Пришлось вернуться.

Потом сушили сухари с Сережей Тумановым, его бабушка разоблачила нас на стадии сушки. А на следующее лето мама, торопясь обрадовать и не поднимаясь на террасу, просунула мне в форточку путевку — сорокапятидневное путешествие по Кавказу. Я стала любить возвращаться домой.



*Во дворе. Слева направо: Нина Арзютова, Галя Успенская,
Аня Купреева. 1949 г.*

Дом и двор

1) Лист ватмана, выгоревший, приблизительно 30 x 45 см, цветными (красным, фиолетовым, зеленым) и черным карандашами нарисован план дома и двора с именами соседей.

2) Лист бумаги-миллиметровки, сложен в шесть раз, приблизительно 50 x 50 см, карандашом начерчен план дома и двора (без масштаба) с именами соседей.

3-4-5) Три листа серого картона, приблизительно 30 x 50 см, синими чернилами нарисованы планы дома, двора и участка улицы с именами соседей, расшифровкой обозначений, комментариями со стрелками и сопроводительными текстами²⁸.

Тексты на полях

Дом сложен из сырцового кирпича на каменном фундаменте, при землетрясениях штукатурка потолка обваливалась, обнаруживая чию (камышовые маты). Крыша скатная, железная. Двери высокие, двустворчатые, с филенками и медными ручками, все двери были со шпингалетами, держали одну створку, когда были гости, обе створки были настежь, стены были так толсты, что пространство между входными дверьми использовали как кладовку, а зимой как холодильник. На подоконнике я устраивалась с книгами в полном комфорте класса до десятого. Высота была не везде одинакова. Гостиные, столовые, спальня были 4,60; кухня не больше 3,50. Окна с двойными рамами, высокие, тоже с прекрасной столяркой, медными ручками и шпингалетами с блестящими шариками. Решетки на окнах появились после 17 года, но еще умело сделанные. Парадное крыльцо несколько раз переключивали, так что я уже не застала его модернизированным, исчез кованый козырек над ним.

²⁸ Описание исходного материала сделано А. Успенским.

В кабинете жила моя первая закадычница — Анька Купреева. Появились они там во время войны. Мы ровесницы, отец не воевал, семья простая, в плохом смысле слова, скрытая плебейская зависть-ненависть к образованным, а внешне — лесть, без подкладки собственного достоинства, у них дома бывала редко. Комната казалась мрачною из-за обилия плюшевых занавесок, скатертей, трогать было ничего нельзя, мать — неровная в поведении, отец — угрюмый, Аньку стегал ремнем по поводу и без. Поэтому все время проводили у меня, где можно было все, нещадно ссорились, дрались, мирились. Бабка нас кормила, читала книжки, разнимала, когда мы уже вцеплялись друг в дружку бульдожьей хваткой, сидела с нами за уроками.

Аньку родители отдали нам как-то на месяц, мы ездили на речку Угам, кишлака не помню, жили там, лазили в овраг собирать пауков, в саду объедались до голодных коллик яблоками, однажды принесли улиток, положили в коробку, а утром вся наша комната была ими облеплена. Купались в сае (ручье), где была запруда, на бурный Угам только ходили смотреть. Это было первое житье в горах. В благодарность Анькина мать принесла бабушке какой-то мрачный отрез на платье (потом его подарили нищим). Я подслушала немного, а больше догадалась, что вся поездка была материально на нас, но, как всегда, итог собеседования мамы и бабушки — «Бог им судья». Так у нас и прожила и прокормилась Анька два года до школы и три после. В четвертом классе начала отходить в сторону, высокомерничать, потом они получили квартиру и уехали. Напоследок она вызвала меня во двор и наговорила столько обидного, что, оглушенная, я не только не поняла, но даже и не запомнила. Осталось



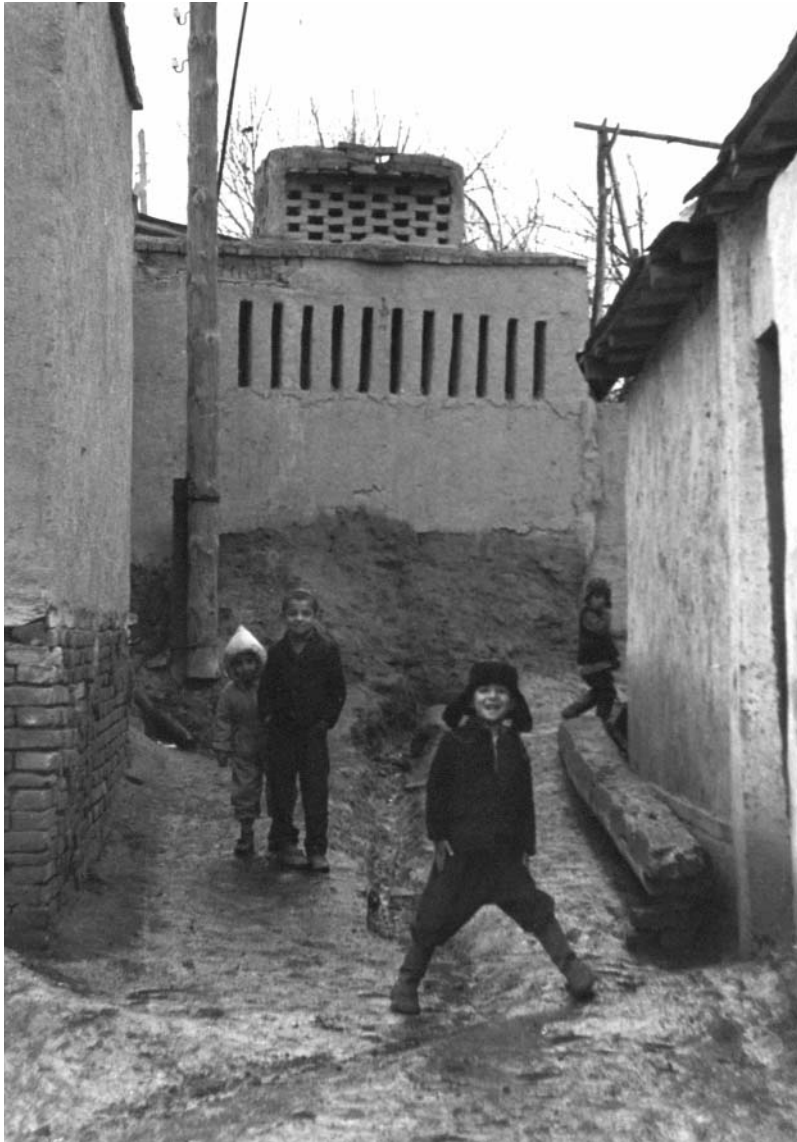
Во дворе. 1960-е гг.

только отдельное, что счастья мне не будет, ибо я дура, и бабка моя дура. «Я у вас кашами давилась, а дома у нас сливочное масло кастрюлями стояло». И от души пожелала поумнеть и, пока не поздно, переделаться. От этого я отходила несколько лет. Я была готова к другому горю, что они уедут далеко, придется реже видаться, куда-то ездить.

На «общем дворе» собирались общие собрания, мама тогда огорченно ворчала и посылала Стасика, собирались собрания от ЖАКТа (предтечи теперешних ЖЭКов), и было много крика и недовольств, мы (дети) не вникали, бегали вокруг и дразнились, изображая кого-нибудь, особенно разошедшегося. Позже, когда вырос Женька, тетя Соня устраивала детские концерты, от которых я бегала как от чумы, так мне было чуждо и противно,

как и пионерский лагерь. Но игры общие были здесь же, круговая лапта с выбиванием мячом (любила страстно, ибо лучше всех уворачивалась), прыгалки, классики, ножички, лянга, ошички. Здесь, у орешни, было место «водилы» в прятках, позднее дядя Артур сделал маленький бильярд, тоже двухлетнее увлечение. Здесь дядя Яша распивал и распевал со своими однополчанами, сюда приносились из дома куски хлеба, посыпанные сахаром, от которого все откусывали, здесь же, ближе к ночи, на скамейках или качелях придумывались все наши с Инкой теории мироздания и устройства себя (в первую очередь, конечно, воспитание воли!). Здесь же, на остатке «общего двора», я укачивала на качелях, на коленях крошечного Антона и рассказывала ему сложнейшие греческие мифы, а он очень внимательно слушал и засыпал. Здесь же он мне, подрастая до двух с половиной лет, рассказывал замечательные сказки про «толстую попу, которая пошла гулять».

Со старой орешни и старой урючины, громадных, плодоносных, собирали урожай и делили на всех, получалось много; помню, на террасе стояло цинковое корыто, наполненное более половины, для детей был праздник, да и взрослые были веселы и никто не тащил ни в рот, ни в карман, дело было — коммунное. На старой урючине, когда нам с Анькой было лет по восемь, Леша Овчинников сделал качели, размах был огромный, дух захватывало. Потом все обособились, да и урожая сникли, потом от «общего двора» отхватила себе изрядный кусок Равиля Акбаралиева, а старую орешню, как предмет раздора, спилили, урючину же посчитали за свою. К этому времени подросла молодая орешина с мелкими, тонкокорыми орехами, все говорили: «для ребятишек», да только они их что-то не видали.



Зимой в старом городе. 1966 г.

Надписи на плане двора

Миллеровы (Инка) позднее разделили коридор пополам и пристроили кухню. Пробили к нам в сад окно.

Душ.

Кто жил до Инки, не помню, ходила очень редко на этот двор дружить с тетей Элей, маленькой, смуглой, красивой женщиной, из-за любви к ее собачке Джерри. Потом они уехали в Москву, в квартире поселилась статная старуха, замкнутая, вежливая, страдающая от матерщинницы, беспардонной Глоры, Инкиной бабки. Пыталась новая жилища пить чай на террасе (в «Большом доме» ею пользовались по утрам), но — запад, солнце, — уютной жизни не вышло.

Сад.

Арык.

Глинобитная пристройка. Жили: Тулкан, Нариман, Соня, мать их — грузная, белокожая, отекающая, породисто-красивая, все сидела на стуле у дома, рано умерла, Соне было лет пятнадцать (старше меня лет на шесть).

Суфа.

Участок над суфой увит густым хмелем. В саду были розы, душистый табак. И, к моему возмущению, канны.

Старая урючина. С нее прыгали «кто выше», разбила коленкой нос. В нее же метились из луков.

Отсюда можно было забраться на плоскую крышу, за сушеным на солнце хлебом.

Забор.

Кок-султан — место отсидки, исповедей и планов.

Уборная новая.

²⁹ В странах Ближнего и Среднего Востока естественный или искусственный водоем, крытый или открытый бассейн во дворе.

Участок заброшенного ничейного сада.
Помойка.
Место старой уборной.
Водопровод.
Бывшие сараи.
Глухой забор. Высокий, желтый, с осыпающейся саманной штукатуркой. В жаркие летние вечера с уходящим солнцем выползали на нее скорпионы.
Калитка дома № 18. Около калитки несколько лет рос, обвисая с нее мягкой шкурой бараньей, «маляка карпус» — туркменская клюква, к концу лета вся в красных, нежных и кислых ягодах.
Хауз²⁹. Потом засыпали.
Мостик.
Ул. Учительская.
Клинкерный кирпич с клеймом.
Арык.
Ворота с калиткой, № 16.

Надписи на плане дома

Терраса
Зеленая гостиная³⁰
Спальня — тетя Эля и Джерри
Столовая — Миллеровы (Инка)
Ванная — Ренальская Тамара Иосифовна
Уборная — кошка Вики
Кухня — Беневицкая тетя Шура, Захарова Рита (дочь)
Буфетная — Павел и его жена

³⁰ Здесь и в соседней маленькой комнате без названия нарисован план расстановки мебели, это — наш Дом (прим. А. У.).



В бывшей Зеленой гостиной. 1961 г.

Кабинет — Купреевы. Нина (мать), отец, Аня (дочь)
Парадное крыльцо
Гостиная — Болгарина Лариса Александровна,
Болотина Любовь Ивановна
Гардеробная — Аристова
Эконом — Панкратовы. Мать. Мила и Виктор (дети).



На террасе. 1964 г.

Вернуться домой

Набоков — реалист — понял, что второго дома не бывает, и жил в гостинице. А я не могу смириться — хочу дом, хочу вернуться домой. Один повторяющийся, очень цепкий, уводящий в глубину, не дающий очнуться сон.

Я из Рязани, совершив какие-то немислимые организационные кульбиты, снова оказываюсь в Ташкенте, на Учительской, в Доме. Жуткое чувство необратимости поступка — я привезла (уговорила, добилась) Антона, мама то появляется, то исчезает. Время теперешнее,



На улице Учительской возле дома. Апрель 1962 г.

то есть никого в Ташкенте из наших, из бывших нет, работы нет, русского языка нет, и города того нет, есть только кусок улицы, двор и дом. И как жить, чем, с кем, то есть ощущение катастрофы полное (особенно для Антона). И притом я знала, на что иду.

А такое чувство счастья, обретения, возвращения, физической плотской радости от дома, стен, террасы, окон, дверей, земли, тепла, запахов! Глажу, целую, люблю! И — жадно — пожить, продлить, не проснуться!

Нищие

Весна! Наконец-то! Я в своем любимом фланелевом мягко-ласковом платье в красную мелкую клеточку обживаю заново террасу.

Солнечный день, очень прозрачный, очень чистый. Тепло. Но мир как-то не до конца прогреет. Я ищу солнце-пека, в тени мерещится холод прошедшей зимы. Наверное, это конец марта и позднее утро.

Как-то враз и как бы ниоткуда перед крыльцом нищие — двое. Мальчик и мужчина. Нищие были не в диковинку, за день их проходило по двору и в одиночку, и компаниями — только успевай подавай. Бабушка и мама отзывались на всех. В основном просили хлеб, деньги, реже — одежду. Но эти были не такие нищие. Те были «попрошайки» — так их называла соседка. Слово, запрещенное в нашем доме. Но немножко правды в слове «попрошайка» я все-таки находила. И в заученных присказках, и в некоторой легковесности описываемых горестей, и, главное, в привычности состояния. И потом все они были свои — вокзальные, пригородные, переушинские³¹... А эти были такие чужие, далекие, именно географически далекие. Очень тепло, нелепо тепло закутанные в платки, стеганки, обмотки, тряпки вокруг шей, ног, рук. Все серое, мертво-серое, пыльное. Ватные ушанки на голове. И лица серые, тоже как бы пыльные. Никаких

³¹ Переушинский мост — социальная клоака, дно Ташкента.

слов, никаких просьб. Молча поднялись на крыльцо и сели на край террасы.

Бабушка вынесла им кашу (всю!) в кастрюльке, тарелки и ложки. Они стали есть прямо из кастрюли своими ложками, также молча. Я висела на перилах и глаз не могла отвести, а бабушка ушла, она никогда не караулила нищих, и у нас вечно что-нибудь пропадало.

Мальчик первый перестал есть, мужик что-то зло ему сказал и ткнул в лоб. Мальчик оглянулся, сразу нашел меня глазами в моем углу. У него были хорошие глаза, просто усталые до безжизненности. Ему было лет десять, мне пять или шесть, я сразу откликнулась и постаралась успеть улыбнуться.

Они доели кашу. Встали, засунули свои ложки и нашу кастрюлю в мешок, а, уходя по дорожке, старик сделал шаг в сторону и со злостью сдернул с веревки мамину кофту. И та-а-к на меня посмотрел, что я пошла к бабушке, — не в слезах, нет, в обиде... За солнце, за чистую террасу, за съеденную кашу (мою любимую, машевую, «кашумашу»), за маму — и так раздетую, а теперь и вовсе, за бабку, за это ее вечное, когда она «в дураках» (опять соседкино).

И слышала от нее впервые вот это, что потом всю жизнь будет сопровождать и до, и впредь, и утешением, и остережением — «ОТ ТЮРЬМЫ ДА СУМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ». И ни слова больше. И прошел длинный-длинный день, пока не пришла мама.

И тогда все потери — и вор-нищий, и его злые глаза, и неспасибо, и каша, и бабкина гордая необъясняемая правота — все разгладилось, проплакалось, объяснилось, пожалелось, простилось.

1985 г.

СЕМЬЯ



Фамилия

Моя фамилия — Успенская, это наша не родовая фамилия, она к нам пришла совершенно случайным путем. Мой папа был Глеб Баранов и меня должны были назвать Еленой. И я так думаю, что если бы я была Еленой Глебовной Барановой, то у меня была бы абсолютно другая судьба.

А Успенская — это вот как пришло. Мой папа дружил со своим сверстником, Успенским Николаем Сергеевичем, одним из двух братьев Успенских. Другой был директором Ташкентской консерватории³² и необыкновенно много сделал для узбекской музыки, и вообще для всей музыкальной культуры Узбекистана. Он собирал песни народных сказителей, которые называются макамы, и вот эти макамы он собирал по Хорезму, Бухаре, по Таджикистану, по всему среднеазиатскому региону. И, собрав эти макамы, он создал колоссальный труд — переложил их на европейскую нотную грамоту, то есть их стало можно петь, читать и вообще преподавать. До этого они передавались только на слух, а он их ввел в музыкальную культуру. А вообще он был преподавателем, директором консерватории; он приглашал туда из России, и не только, музыкантов, певцов, и оперный театр там

³² Виктор Александрович Успенский (1879–1949) — музыкант-этнограф, композитор, народный артист Туркмении (1929) и Узбекистана (1937), доктор искусствоведения (1943). Исследователь музыкальной культуры Средней Азии, автор музыкальной драмы «Фархад и Ширин» (1936), профессор Ташкентской консерватории (с 1936).

создался на этой же основе. Балетное училище было прекрасное, и балерины хорошего высокого класса, настоящего. Приезжали, конечно, из Питера и из Москвы, тогда же было распределение советское, когда поднимали окраины, но были и свои, очень приличные.

И вот этот Успенский, который занимался музыкой, у него был родной брат — священник. Я очень плохо разбираюсь в этих чинах, какой-то епископ не епископ, в общем, что-то такое. А когда начались гонения на церковь, его взяли, допросили, сослали, но вернули, — здесь еще послабление было, у нас же до окраин доходило всегда немного с опозданием. Потом борьба более жестокая пошла. В общем, он успел понять, что ему надо спасти семью. Семью он отослал в Сибирь, к своим родственникам дальним, а старший сын отказался ехать, бросить отца. И тогда мой отец предложил ему поменяться документами, — таким образом, он не расстался с другом³³. Через некоторое время моего отца взяли, но у него не было никаких связей с этим миром. То есть он Успенский, ну и что, — Успенский?! Вот сирота коломенская, закончил горный техникум. Мама вот есть, причем мама в это время жила в Харбине, что тоже не способствовало его успеху. Но он сказал, что мама вышла замуж и уехала. Спросили его друзей, но они были предупреждены. Ну однофамильцы, бывают же однофамильцы, причем здесь я? Есть еще Успенские в этом городе. От него отстали. А тот, значит, остался как Баранов, со своим папой. И папу все-таки

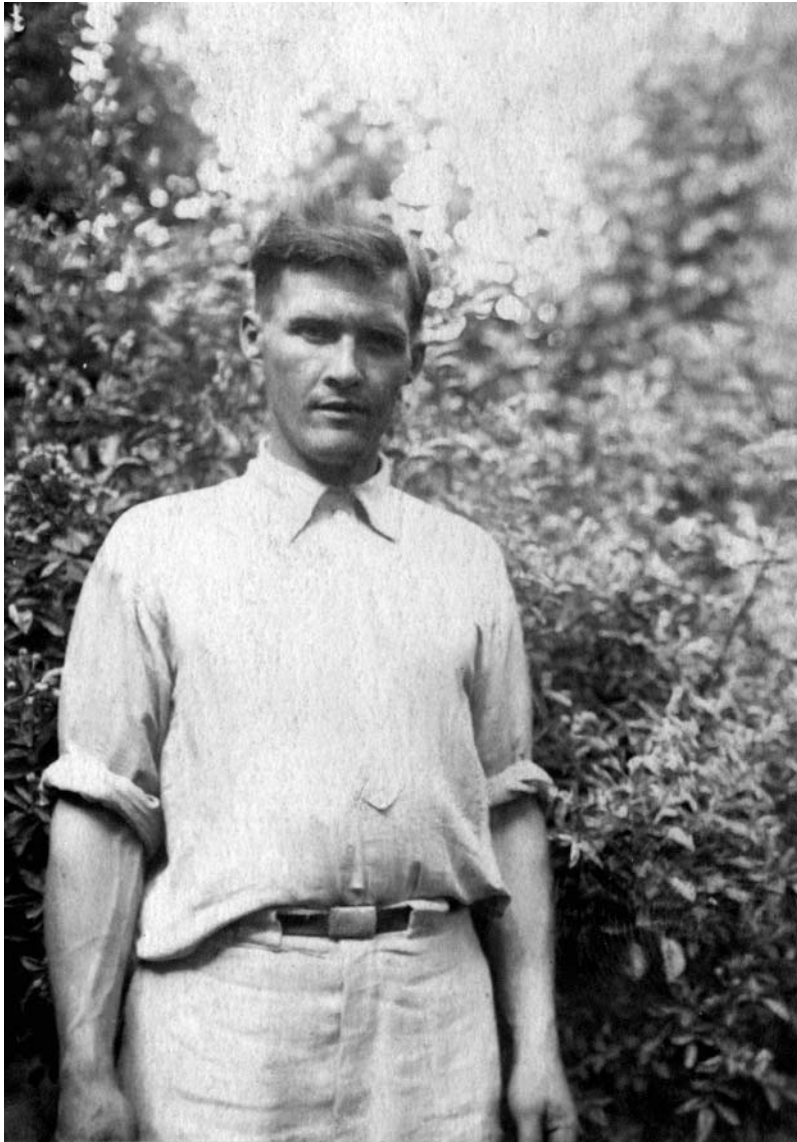
³³ Два Успенских в результате этого подлога получились с разными отчествами — Виктор Александрович и Николай Сергеевич. Думаю, что Глеб Баранов обменялся именем и фамилией с Николаем Успенским, но оставил родное отчество Сергеевич, что дополнительно отводило подозрения в родстве (*прим. А. У.*).

взяли, и сослали, и убили, а сын жив остался. При этом он занимался совершенно подпольной священнической деятельностью, сын вот этого священника. Есть такой маленький городочек, поселочек под Ташкентом — Кибрай. В этом Кибрае была такая церковь, почти катакомбная. Вот он там все это время и занимался православным делом, это были примерно 1928–1932 годы, вот так вот.

Папа — он так и был Успенским. И ничего с ним не делали плохого. А потом, когда они с мамой поженились и родилась я, у него была бронь, и его послали на реку Ангрэн, на рудники, и он там работал горным инженером. В 1943-м бронь с него сняли и послали на фронт. А уж когда его послали на фронт, все документы подняли и сказали: кто же ты на самом деле? И на фронт он пошел как Баранов. И пропал без вести там как Глеб Баранов. И вот эта фамилия нам досталась — Успенские, я осталась как Успенская, поскольку была зарегистрирована до его ухода на фронт³⁴.

И фамилия не даром, потому что все мои родственники ближайшие, они все были атеисты. Они, так или иначе, были отступники от Бога. Я не могу упрекнуть свою маму ни в чем совершенно, потому что так по заповедям жить, как она жила, редко кто может. Но это ей было просто дано от природы. Такая гармония невероятная, она никогда богохульствами не занималась, богоотрицанием тоже, но и в церковь она не ходила, и Бога не вспоминала,

³⁴ У мамы сохранилось младенческое воспоминание в возрасте около полугода (позже подтвержденное свидетелем и организатором этой встречи, нашей соседкой Л. А. Болгариной) — отец ласкает ее и целует. Это происходило тайно, супруги уже расстались, и Глеб Баранов прощался с дочерью перед уходом на фронт (*прим. А. У.*).



Глеб Баранов (Николай Успенский)



Т. К. Землянов (слева) в своем доме. 1920-е гг.

но — так случалось с тем поколением. Бабушка, мамина двоюродная сестра, та была атеисткой невероятной. И даже когда она умирала, к ней пришла соседка, спросила: «Ну, можно, я приглашу священника?» А та уже и говорить не могла ничего, я помню ее лицо. Она сжала губы и с такой энергией вот так махала головой: «Не надо мне никакого священника!» И так и ушла. Если бабушка, которая была атеисткой, жила так, что упрекнуть ни в чем нельзя было, то ее отец³⁵ был просто богохульник. Например, они пропивали крест нательный, громадный крест какого-то попа, чтобы оплатить кутеж в ресторане, ну, и прочее, и прочее. И любимые анекдоты только эти. И вообще, ха-ха, хи-хи и сплошное богохульство.

³⁵ Тимофей Климентьевич Землянов (1863–1930-е). До революции — бухгалтер управления местного интенданта Туркестанского военного округа, коллежский советник. Без вести пропал на пасеке в Чимгане.

Хотя и поздно, но я крестилась, и очень трудно шла к вере, но пришла. Когда я сейчас ретроспективно рассматриваю себя, стоит мне чуть-чуть отступить от православия, хоть чем-нибудь искусить, и — вот уже наказывают. Буквально, вот даже до смешного, — есть всякие гимнастики китайские, ну, кажется, чего плохого? Китайская гимнастика — в мировоззрение я туда не суюсь, ну просто — вот полезная вещь, казалось бы. Все совершенно чудовищно болит после этого, то есть вообще никак нельзя. А недавно, буквально, так бывает, когда открывается, когда не я говорю, а мне говорят, совершенно точно. Вот мне тут недавно так говорят: за всех своих родственников нужно было молиться. Я думаю, это не мое ощущение было, у меня так бывает, когда что-то открывается и что-то говорится.

осень 2005 г.

Маме с благодарностью

Недавно с удивлением поняла, что из своего раннего детства я совсем не помню солнца. Это в Ташкенте-то! Помню солнце в Хумсане и потом — сплошь солнце. Но это уже — шесть — семь лет. А до того — не помню. Все, что помню, — это почему-то вечер или ночь, или мокрый сад осенью, остатки снега весной. Больше всего — дом, комнату, лампу, печку.

Наверное, я болею или выздоравливаю. Я в постели, мама рядом, читает мне «Муху-цокотуху». Я прошу картинку — их нет. Потом, через день или два, мама показывает мне книжку. Самодельную. Листочки с текстом (печатными буквами от руки) переложены прозрачными страничками (калька для туши) иллюстраций. Книжечка сшита толстой белой ниткой и на обложке муха и самовар синим и красным карандашом. Мама у знакомых сделала копии пером и тушью. Я с замиранием рассматриваю рисунки, они большие, подробные, мне кажутся чудом — в буквальном смысле — невиданным. Я боюсь переверачивать их, прошу маму, она смеется. А я, в этот момент и — навсегда, понимаю, как она меня любит и что все для меня может, и физически очень остро ощущаю благодарность и жаркую боль в грудной клетке и грусть, очень ясно и горько осознаваемую печаль, что мне — не отплатить. Никогда... Так и вышло.

Мама гладит белье. Горит свет, электрический. Утюг — чугунный, в него насыпают красный раскаленный уголь, у основания есть дырочки. Время от времени мама размахивает им, чтобы уголь разгорелся. Очень уютно пахнет дымком и свежим бельем. Мне хорошо — я люблю, когда мама дома, но хочется оторвать ее от дел, почитать, поиграть. Мама придумывает мне занятие — дает кусочек белой ткани и карандашом рисует слона, показывает стебельчатый шов — «попробуй». И я в первый раз в жизни вышиваю. Погружаюсь полностью. Удивительным кажется, что идти по линии надо иголкой задом-наперед. Сижу тихо и долго. Расстройство начинается, когда дохожу до завитка слоньего хобота, аккуратная непрерывность линии ломается. Зову маму. Триумф! Мама, не щедрая на похвалы, искренне удивлена моими успехами, чистотой линии, ровностью стежка, доделывает за меня хобот и вышивает в углу — «5 лет». С этого дня я вышиваю все, что можно и нельзя, и уже не просто черной ниткой, а цветными, подаренными тетей Шурой, соседкой. Она — профессионал, вышивает гладью, носит на рынок, сидит у окна с пяльцами дни напролет. Год спустя вознамерилась выучить меня, но гладь у меня не пошла. Я смотрела, как летает игла у нее над маками и — совершенно не постигала. Мама меня утешила новой премудростью — показала на спицах лицевую и изнаночную петлю. Вяжу до сих пор. А крючком — я не помню, когда начала и кто научил. Помню только, что в детском саду (во втором своем детском саду) крючок у меня был в руках почти постоянно, а в кармашке — клубок с нитками, и я вязала, вязала.

Я болею. Бабушка-педиатр очередной раз меня проглядела. Я молчу, горю, мне плохо. Я это знаю, терплю и проваливаюсь в бред, всегда в один и тот же. На стене над кроватью — шерстяная скатерть, которая служит ковром. Широкая кайма орнамента вся в движении. Там черти, маленькие, они двигаются, пляшут, угрожают. И от них никуда не деться. И так всегда, когда высокая температура. Став постарше, я стараюсь засыпать на другом боку, чтобы их не видеть, и даже придумываю что-то вроде заговора-молитвы от них. А много лет спустя радуюсь, что после очередного ремонта скатерть-ковер, уличенная в ветхости, исчезает.

Ночь, очень темно и тихо. Мама несет меня, закутанную, на руках в больницу. Ей тяжело, она не говорит со мной, торопится, я не слышу ее шагов, а дыхание слышу. Мне, наверное, года четыре. (Потом, взрослая, днем я не раз проходила этот путь — не меньше часа. В темноте, с ее больным сердцем!) И вдруг звуки, никогда мною не слышанные. Они полны тоски, угрозы и силы. «Это львы, не бойся!» Чувство реальности окончательно исчезает. Ничего нет — ни города, ни дома, мы вдвоем с мамой плывем в темноте. Одиночество смыкается вокруг нас, наполненное тоской львиного крика-вопля. Мне жалко маму, я ощущаю себя не на руках у нее, а внутри нее, в капсуле ее защиты, тепла, а она одна, и я чувствую, что ей холодно, трудно. Одиноко.

Яркий свет, я стою на табуретке, меня кто-то держит. Белые шкафы со стеклом, врач, зеркальце на лбу, металлическое, сверкающее, вдали мамино лицо, она мне улыбается. «Девочка, скажи: а-а-а!» Потом — полный провал. Это был дифтерит. Удалили пленки. Нечаянно

подслушанное (мама кому-то рассказывала): «...еще час-два и было бы поздно». Что она меня спасает, я точно знала еще тогда ночью, у нее на руках, под львиные крики.

Маме вырезали гланды. Мы с бабушкой ее навещаем. Маме тридцать пять лет. Значит, мне — два. Застекленная веранда, пальмы в кадках, плетеные кресла, мама сидит, баба что-то ей говорит, мама кивает, улыбается. Мне объясняют, что маме пока нельзя говорить. Операцию делал Дубинчик. Он — ташкентская знаменитость. (В мои двадцать лет он же удалял гланды мне, уже неудачно, наверное, от старости.) Я стою, терплю, не выдерживаю, наконец, и — лезу к маме на колени. Кто-то из чужих делает мне замечание, что я, здоровая и тяжелая, лезу к больной и слабой маме. Я озадачена и внутренне совершенно не согласна. Окружение настаивает, я делаю движение вниз и — мамины руки меня удерживают и крепко-крепко прижимают меня к себе. Мама по-прежнему молчит, но я знаю, что могу ее поцеловать перед уходом. Не помню тоски от того, что мамы не было дома. Это сидение на коленях — главное в той разлуке и болезни.

Мы солим капусту. Это всегда весело, это почти праздник. Подготовка ведется почти неделю. Выкатывается бочка из кладовки, моется, ошпаривается кипятком, просушивается всеми боками на солнце. Стасик носит в рюкзаке и авоськах капусту и морковь с Алайского. Лук он уже принес, и тот висит в кладовке громадными золотыми гроздьями над пачками книг в крафте. Уголь уже тоже заказан, привезен, высыпан

на тротуаре перед калиткой и мы его перенесли под террасу, подполье под ней в рост человека, дверка много ниже и это — любимое место скорпионов, поэтому я уголь ношу, укладывает его Стасик. Папа осенью очень домовит, без просьб начинает походы на базар. И последняя его осенняя забота — крыша. Смести листья, покрасить, если требуется — заделать дыру или щель. Иногда на помощь вызывается дядя Артур. Крыша наклонная, высокая. Мама всегда нервничает, уговаривает папу доверить все это Артуру, но Стасик смеется, геройствует и лезет сам.

И вот вечером — начинается. У папы задача — обрубить верхние листья, почистить морковь и вынести мусор. Я режу морковь соломкой. Мама шинкует капусту, укладывает на столе горкой, сверху пересыпает морковью, солил и месит руками до сока. Порции укладываются в ведро. Носим вниз, в кладовку, а там — в бочку, с силой утрамбовываем, посыпаем лавровым листом и снова наверх, на террасу.

Ко мне пришла Зарка. Сначала хрустела кочерыжками, потом втянулась в процесс. Мама пела песни, мы их портили своим участием, шутили, хохотали до слез. Стасик режимно в десять часов пошел спать, а мы с фонариком — вниз-вверх. Вот уже треть бочки и не нужно нырять в нее почти целиком. В первом часу пришла Заркина мама ругаться — «где дочь?» Заразилась весельем, через час они все-таки ушли, а мы к четверем забили бочку капустой почти доверху. Белый холст, гнёт.

Потом капуста дала сок, много, сливали, постепенно доливая его обратно. И нетерпение — когда будет готово? Пробую — все еще пресно, и вот наконец этот настоящий вкус, пощипывает язык, слюнки текут так, что полон рот.

И вот теперь — наши осенние и зимние ужины! Большая тарелка с капустой, посыпана белым луком, полита хлопковым маслом, на маленькой тарелке зеленая редька с маслом и уксусом, полтарелочки тертой, половина прозрачными кружочками. Котелок с «кашей-машей» закрыт полотенцем или сковородка с жареной картошкой, свежий хлеб (это ежедневная забота Стасика, покупал по дороге с работы). Никогда не ела капусты вкуснее маминой, и никто не умел так вкусно жарить картошку! А какой винегрет с этой капустой получался у мамы! Подавался он всегда в «вулкановском» блюде с ручками и никогда не оставался на завтра — оторваться было невозможно! А кислые щи с бараниной?!!

Ужин был всегда долгий, особенно растягивалось чаепитие, рассказывалось всеми и всё, что было за день. Иногда Стасик уходил на «ботаническое общество» и мы с мамой чаевничали вдвоем. Я, не зная Стасикиных сотрудников в лицо, до сих пор помню фамилии: Момотов, Чавриниди, Руми, Захарьянц... Маминых знала, ибо в Ботаническом саду не просто бывала — жила. Очень часто приходили гости, всем было хорошо в нашем доме, двери были открыты в буквальном смысле. Вспоминаешь гнездо на Учительской — очень светло в комнате или светлое пятно стола на террасе, окруженное душистой зеленой тьмой, и негромкие разговоры, громкий смех, улыбки, приветливое лицо мамы, и все рады друг другу. Во всем нашем большом дворе наш дом (все время говорю неправильно — «дом», не дом, конечно, его кусочек — терраса, передняя и комната, но, по сути, это был дом, потом были только квартиры) был самый посещаемый и по количеству гостей, и по длительности их гостевания. И при этом, при всей скудости нашего бюджета, всех усаживали за стол и от всего сердца «скармливалось» всё.

осень 2003 г.

Землянова

Мария Тимофеевна Землянова — бабушка, как я ее называла, была двоюродной сестрой моей мамы, по профессии — доктор-педиатр³⁶. Она закончила медицинский институт в июле 1914 года, в августе был призыв на фронт, в августе она уже была в госпитале, в лазарете, и всю войну она была там. Вся Первая мировая у нее там прошла, а ее отец, Тимофей Климентьевич, этот богохульник, вот он был в Ташкенте, и она потом приехала к нему. И младшая сестра, Таечка, она была младше Марии на три года, тоже кончила медицинский после войны. Она погибла, потому что она ухаживала за тифозными больными, уже в Гражданскую, где-то на Волге, в плавучих этих тифозных баржах. И захоронена в районе Рузаевки.

Если мама просто жила гармонично, даже нельзя сказать, какой у нее был характер, нельзя определить, что вот она была холерик или сангвиник. Нельзя сказать, что она интроверт или экстраверт, потому что, опять-таки, — какая-то невероятная гармония. А бабушка — это был вулкан страстей, который она абсолютно не выпускала наружу. Было все завинчено, и все это внутри бушевало. Вся избыточная энергия, которая в ней сидела, выливалась в совершенно фанатичную профессиональную деятельность. Бабушка была, конечно, педиатром от Бога, и вообще, она была врачом от Бога. Она потрясающий была

³⁶ М. Т. Землянова (1883–1956).



М. Т. Землянова. Москва. 1909 г.

диагност, ну, они все такие были. Ну, не все, конечно, но очень многие, очень честные, самоотверженные. Даже не самоотверженные, а самоотречение какое-то было, потому что у них была идея. То есть если она лечила ребенка, этот ребенок уже точно должен был выздороветь. Потому что на это было направлено решительно все: она над ним порхала как бабочка, была нежна невероятно, была умна невероятно, где-то очень строгая. Ну, в общем, врач настоящий. Все эти дети потом долечивались у нас, потому что они все были бедные, больные. Поэтому я до сих пор ненавижу шоколад — шоколад вообще было есть нельзя. Если была какая-то шоколадная конфета, то — для больного ребенка. Кусочек сливочного масла — для больного ребенка, все для больного ребенка.

Еще были идеи. У нее было, например, всегда два платья — одно стиралось, одно носилось. Она считала (это была идея), что нельзя иметь больше, чем человеку нужно. Что стыдно, когда кто-то голый, быть одетым. Стыдно есть, если кто-то голодный. Ела она очень мало, очень ограниченно, это тоже было не потому, что у нее плохой аппетит, — это была идея, которая так вросла внутрь, что в результате — она есть не хотела. И она никогда не ругалась, никогда свои идеи не высказывала, то есть стоило мне получить четыре, — меня никто не ругал. Мама просто ругаться не умела, ей и некогда было, а бабушка просто спрашивала: «Как у тебя дела в школе?» Я говорила: «Четыре», — у нее поднималась бровь, и она начинала меня презирать, и — пошла. И всё. И это хуже, чем ругаться, хуже, чем что угодно. Хотя просто обычная история — получить «четыре». Поэтому мне приходилось получать сплошные похвальные грамоты. Четыре года в школе я была отличницей. У меня были не просто

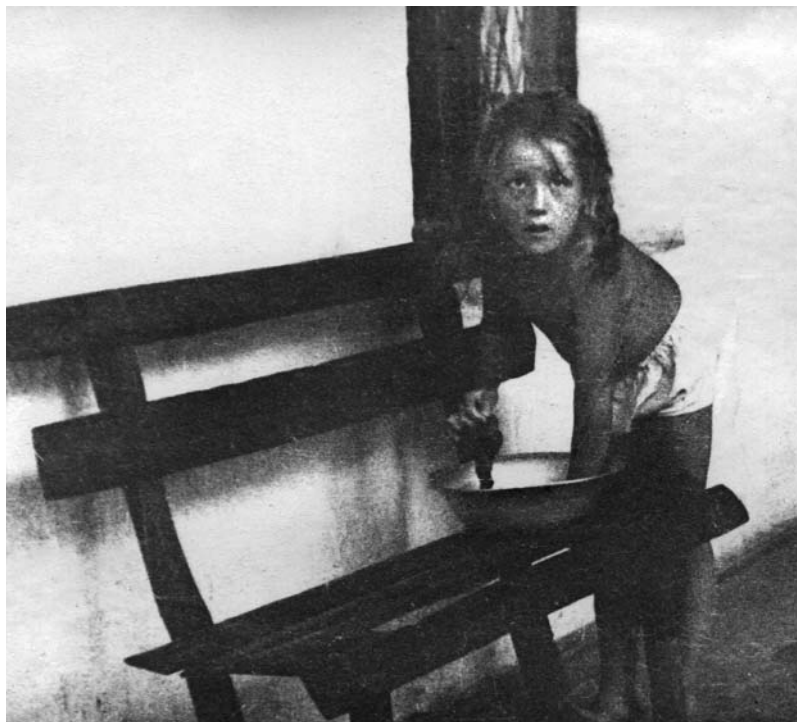


М. Т. Землянова

«пятерки», у меня были «пятерки с плюсом» все время. Потому что она мне говорила: «У тебя условия какие? Ты сыта, одета, обута. У тебя теплое помещение, светлое, у тебя есть родители, у тебя есть я. Тебя провожают в школу, ты учишься в прекрасной школе. Посмотри — сколько несчастных детей вокруг. Как они живут? Ты имеешь право на что-то там вообще, на какие-то действия?» Ну вот, я ни на что не имела право, только быть самой лучшей.

И поэтому у меня реакция потом была совершенно обратная. Нужно было вставать в шесть утра, пить сок шиповника, принести десять или двенадцать ведер воды (улицу целую пройти надо было до водопроводной колонки), полить цветник, сделать зарядку, обтереться холодной водой. Только после этого позавтракать, убрать постель и идти в школу. Если была вторая смена, — сделать уроки и идти в школу. Вот с тех пор — я ненавижу убирать постель и не убираю, если можно. Я ненавижу делать зарядки и не делаю их никогда. Я ненавижу вставать рано утром и ненавижу шиповник. Это было мое английское воспитание такое. В то же время бабушка была очень доброй, она меня страстно любила и жалела меня. Она считала, что вообще нельзя человека жалеть, он должен быть такой вот стойкий, такой весь прямой, вот с такими идеями. Правда, она никогда никого не осуждала.

Я тоже ее очень любила, тоже страстно. Но мы были очень упрямые. И вот мы иногда упирались лбами во что-нибудь, в какую-нибудь проблему общую, и не могли вообще съехать никуда, как два барана на том мосту. В результате все кончалось тем, что она начинала меня бить веником, — это очень оскорбительно. Это было совсем не больно, но оскорбительно невероятно. Я ложилась



Стирка как «английское воспитание». 1951 г.

на пол и начинала пускать слюни, — слез у меня не было от злости. Я наплевывала целую лужу и отодвигалась, чтобы видно было. В результате ей становилось просто меня жалко. Тогда вынималось вишневое варенье и мы с ней пили чай, обливаясь слезами — уже любви и примирения. Она была очень добрым человеком, действительно. Она принимала всех собак, которых я отовсюду приносила, лечила их, мы их потом выращивали, раздавали. Она кормила меня мороженым после того, как мне рвали зубы. Она готова была жизнь за меня положить.

Хмолловская

Бабушка Зинаида Леонардовна Хмолловская, — с ней я познакомилась поздно, мне было уже четырнадцать лет, до этого о ней не было ни слуху ни духу. Я обнаружила в ящике комода письмо, адресованное маме, вскрытое, написанное крупным, небрежным, я бы сказала, некрасивым подчерком. Там было написано, что бабушка эта вот моя (я по письму поняла, кто она) просит о том, чтобы мама дала ей возможность встречи со мной, что она тоскует, что она приехала, в этот раз уже из Риги, — бабушка металась по всему миру постоянно.

Письмо было прочитано мной, я, конечно, вся взволновалась чрезвычайно, мне это показалось невероятным приключением, поскольку родственников все-таки было мало, и несмотря на то, что были и бабушка, и папа, все-таки они были неродными — бабушка и папа — это, наверное, как-то сказывалось³⁷. И, когда здесь организовалась родная бабушка, мне, конечно, захотелось очень ее увидеть. С одной стороны, настаивала бабушка, с другой стороны, проявляла необыкновенный интерес и настойчивость я. Мама предварительно мне рассказала кое-что, почему она не рвется на встречу к бабушке. Рассказала следующее: я родилась 4 марта, а 2 марта бабушка принесла половину куска хозяйственного мыла для мамы, что было тогда большой ценностью. Но к этому мылу она еще

³⁷ «Бабушка» — так называлась М. Т. Землянова, двоюродная сестра мамы; «папа» или «Стасик» — отчим.



З. А. Хмолвская. 1959 г.

добавила большой узел сырого белья, который «ты, Мотя, заодно и постираешь». А у мамы все-таки уже живот, что называется, на нос лез. Потом она мне рассказала, например, про Харбин и еще кое-что. При этом она мне сказала: «Я не пытаюсь ее осуждать или настраивать тебя против нее, просто немножечко предварительно, чтобы ты знала, что она за человек, в общем, она совсем не похожа на Марию Тимофеевну, на всех тех людей, которые тебя до этого окружали». Ну, за маму я, конечно, обиделась, за этот кусок мыла. И второе марта я запомнила навсегда, но тем не менее любопытство меня гнало. И мы пошли.

Жила она тогда на улице Инженерной, приехав несколько месяцев тому назад из Риги, и содержала свой очередной косметический салон. Во дворе небольшая изгородь, за палисадником очень высокое крыльцо, ступенек, наверное, шесть-восемь, и ступеньки высокие, высокий фундамент. Ну, вот открываются двери, появляется женщина. Она ослепительна была бы и внизу, но так как она была еще воздвигнута на постамент, меня это потрясло до... ну, просто до потери голоса. Что называется, в зобу дыханье сперло. Потому что стояла дама, пожилая, в каком-то японском халате или китайском, шелковом, атласном, расписанном всякими фазанами, птицами необыкновенными, черном, с яркими этими всякими цветами, с очень прямой спиной, с очень открытой, такой какой-то статью необыкновенной. Но самое необыкновенное, конечно, была тончайшая талия, а потом необыкновенно крутые бедра, ну, ощущение было какое-то чрезмерно барочное. Крашенная в темно-рыжий каштановый цвет. Громадные глаза, породистая очень физиономия, красивая, глаза полуприкрыты веками такого, радищевского типа. Вот, она мило улыбалась, пригласила нас, мы зашли.

Это была первая квартира, в интерьере которой я видела свою бабушку. Потом я видела ее в интерьере еще двух квартир, в общем, везде было одно и то же. Очень много темных, тяжелых портьер, занавесей, громадная, всегда неубранная постель. В той, первой квартире, большая комната была перегорожена какими-то гардинами, портьерами, тяжеленными, темными занавесями. То есть первая половина перед окнами — это у нее была гостиная-столовая, так сказать. Там стояли стулья, еще какая-то мебель, тоже темная, круглый стол. А за этими занавесями, значит, была видна постель, совершенно разобранный. Ну, тогда у нас это было не принято, это считалось признаком болезни, так что я решила, что бабушка больна, но она оказалась совершенно здорова. И тогда были вскрыты несколько коробок шоколадных конфет, нас напоили чаем, мы о чем-то поговорили. А разговор был тоже довольно странный, потому что ни в такой манере, ни о таких темах я разговаривать не привыкла. Ну, в общем-то, я и молчала. Мной, собственно, особенно и не интересовались. Бабушка, например, никак не могла запомнить, где я учусь, на кого я учусь и кем я стану, когда выучусь. Ей это как-то было очень трудно запоминать. Ну вот, это первое потрясение прошло, потом мы с ней встречались довольно часто, я к ней бегала в гости, мы с ней ходили в кино.

Я помню это странное чувство, которое стало возникать. Я все больше к ней привыкала, и я даже ее как-то любить начинала, но любовь эта не сопровождалась уважением. У меня всегда любовь была связана с уважением, всю жизнь, с детства. И у меня чувство уважения к человеку, то есть то, что он достоин любви, никогда не делилось. А здесь я поняла в первый раз, что можно любить

человека и не уважать его при этом. Это было довольно сложно понять и не очень приятно, но со временем мне стало ясно, именно с бабушкой. Она была совсем другого темперамента, нежели я. И меня поражало, что, например, если трамвай ушел с остановки, бабушка бежала за только что отошедшим трамваем, впрыгивала на подножку и возмущенно вопила, чего это я вслед за ней туда же не прыгаю. То же самое было с трамваем, который только что увез нас с остановки, а она вдруг решала, что нам как раз нужно выйти, тогда мы спрыгивали на всем ходу. В общем, темперамент был, конечно, совершенно необыкновенный.

Разговоры в основном были о том, какая она красавица сейчас, какая она красавица была, а какая она была еще большая красавица, когда она была молодая, а когда она была юная, так она вообще была совсем красавица, и сколько у нее было поклонников, и сколько у нее было мужей, и как ее все любили. И действительно, мама говорила, что она потрясала своей красотой. Она потрясала своей красотой даже в то время, когда я ее видела, хотя, сколько ей лет, она ну никак не могла признаться³⁸. Она праздновала свой день рождения, всегда убавляя год, так что в конечном счете мы бы посправляли еще эти дни рождения и она бы стала ровесницей моей мамы. Мама говорила, что когда она с ней познакомилась, это была молодая, очень красивая женщина, с удлинненными, почти сросшимися бровями, с прекрасными, чуть вьющимися, темно-каштановыми, с бронзовой рыжинкой волосами и с необыкновенного цвета глазами. Глаза были ярко-ярко-синие, не голубые, не фиолетовые, а очень-очень-очень синие. Очень хороший цвет лица, яркий румянец, ну,

³⁸ По моим расчетам, она родилась в 1897 г. (прим. А. У.).



З. А. Хмолвская. Середина 1910-х гг.

в общем, — красавица. С совершенно взбалмошным характером. Ее трудно было бы описать тонко, но, слава богу, за меня это сделала Лиля Брик³⁹, она написала свои воспоминания, когда я их прочитала, я бабушку там просто узнала. Эта способность всех влюблять в себя, эта способность эгоистически жить, умение любя — не любить. Ну, в общем, это абсолютно тот же тип женщины и тот же тип красоты. Только Лиля Брик беспородная, а вот бабушка была очень породистая. То есть красивее, короче говоря.

Она зарабатывала себе на жизнь частной практикой. К ней приходила масса женщин и некоторое количество мужчин, которые в основном лечились от облысения, и она занималась с ними своей косметикой. Косметологом она была очень хорошим и профессиональным. У нее было незаконченное высшее медицинское образование — четыре курса медицинского института. Она была человеком способным во многих отношениях, и в частности, профессионалом в своей области косметологии была высоким. В Ташкенте ее не очень устраивала эта частная практика, потому что до этого у нее был салон в Риге, еще какие-то города она перечисляла, где она работала. Во-первых, она очень любила быть женщиной общественной, личностью видной. Не просто там сидеть на дому и мазать физиономии, а чтобы вокруг было какое-то общество, какой-то блеск, какой-то шум. В Ташкенте этого не получалось, и бабушка на одном месте долго жить не могла. Схема была такая (переезжала она очень легко с места на место) — она вызывала кого-нибудь из комис-

³⁹ Лилия Юрьевна Брик (1891–1978) — муза многих мужчин, самый известный из которых — В. В. Маяковский.

сионного магазина, совершенно не торгуясь, отдавала все, что у нее есть, собирала пару чемоданов и переезжала в следующий город, выбранный ею. Там она делала то же самое: она шла в комиссионку, закупала сразу кучу вещей, обставляла комнаты, в своем этом темном стиле, и начинала жить. То есть на подъем была очень легка, так же, как легка и в походке. Ходила очень быстро, походка была летящая, то есть стремительная такая. Вообще, бабушку представить медленно бредущую или что-то созерцающую было очень трудно.

Здесь возникла новая идея, которая ее страшно восхитила, потому что в это время были какие-то закрытые города, Ужгород в том числе, а здесь он стал городом открытым. Туда можно было приехать, можно было в нем жить, сделать обмен квартиры. В общем, он вошел на общих правах в состав Советского Союза, советской империи. То ли кто-то оттуда приехал, то ли еще какие-то вести она получила, в общем, начались какие-то невероятные сказки, как там хорошо, как там необыкновенно, как там все здорово, а здесь все ужасно, и вообще, пора уезжать. Одна она ехать не хотела, она хотела собрать вокруг себя команду, что у нее и получилось. Сначала появился на горизонте достаточно красивый молодой человек, так лет тридцати, женатый на очень симпатичной даме, оба они были врачи, бабушка начала их уговаривать ехать, чтобы он в ее салоне был терапевтом. И кроме этого, она почему-то была уверена, что с ней поеду и я и мы там вместе будем жить. Ни то, что я учусь в школе, ни то, что у меня есть родители, ее как-то, ну совершенно не смущало. Я никогда таких обещаний ей не давала, но смутить она, конечно, меня смутила. И в общем, в Ужгород мне хотелось, но вовсе не жить. Когда выяснились

мои планы, она начала искать кого-то другого. Здесь обнаружилось, что, оказывается, у Зинаиды Леонардовны есть родная сестра, правда, с другим отчеством — Леопольдовна, и зовут ее Стелла. Туда мы и пошли.

Я познакомилась со своей двоюродной бабушкой. Это была высокая женщина, достаточно плоская, с замученным лицом, вовсе не такой ослепительной красоты, как старшая, Зинаида. Черты лица были правильные, но мелкие, не выразительные. Это был человек совершенно иной, работающий, достаточно натерпевшийся в жизни. Старшая дочь у нее умерла от эхинококка мозга, она жила с младшей дочерью в довольно стесненных обстоятельствах и в плохих условиях. Девочка ее, она была чуть старше меня, школу кончила, нигде не училась и какой-то светлой и блестящей будущности ей явно не грозило. И бабушка уговорила Стеллу отпустить эту девочку с ней. Как я потом поняла, нужна она была ей просто как обслуживающий персонал. Как ее звали, я даже не помню. Вот она отправилась в сопровождении этой пары медицинских работников и своей племянницы в Ужгород. Уехала она туда летом, а на следующее лето я поехала к ней в гости, значит, я перешла в десятый класс, был это 1960 год. Значит, уехала она в Ужгород в 1959-м.

Добралась я туда с большими приключениями, нашла бабушкин дом, он стоял на площади Сталина в Ужгороде. Это такая небольшая круглая площадь, на которую дом выходил фасадом. В центре была большая клумба, и уже в центре клумбы стоял бронзовый, достаточно большой Сталин. На скамейке, взирая на этого Сталина, я достаточно часто сидела, поскольку бабушка, как правило, забывала мне отдать ключи, и я ее ждала. Значит, бабушка жила там примерно в такой же квартире, как и

в Ташкенте, только она состояла из двух комнат смежных и небольшой передней, которая была заодно и кухней. Палисадник был почему-то на каком-то очень большом отдалении от самой квартиры и имел достаточно запущенный вид. Но тем не менее там бабушка время от времени пыталась какие-то цветы выращивать. Салон ее производил впечатление достаточно презентабельного, она еще при мне продолжала оформлять какие-то документы на него, мы без конца с ней вместе ходили в Раду. Все было по-украински написано, и Горисполком назывался какой-то там Радой. Там я впервые увидела открытые лифты, которые медленно катаются туда-сюда. Бабушка очень уверенно чувствовала себя в этих бюрократических кабинетах. Никаких взяток и никаких подарков она отродясь никому не носила, только улыбка и обаяние. И в общем-то достаточно быстро у нее с оформлением документов все получалось.

Это был город, в котором еще очень-очень много сохранилось от несоветской буржуазной жизни, там были ночные кофейни, причем они были частные, какие-то кондитерские частные. Вообще было очень много такого какого-то западноевропейского уюта, ранее мною не виданного, не слыханного и, вообще, даже мало читанного. Салон представлял собой четыре комнаты, две из них достаточно большие, аппаратуры у бабушки всегда было очень много, причем аппаратура хорошая, профессиональная. Кремы она, как правило, делала сама, крутила их в таких фарфоровых чашках фарфоровыми пестиками. У нее было довольно много толстенных тетрадок, в которых были записаны крайне ценные рецепты. Действительно ценные, потому что, когда у нее наступили тяжелые времена, она эти тетрадки с рецептами продавала,

довольно не дешево, поскольку на эти вот тетрадки она продолжала довольно хорошо жить, когда уже отказалась от работы и жила только на одну пенсию. Значит, там она еще наняла маникюрщицу, педикюрщицу, был еще этот мужчина, приехавший из Ташкента (с женой они там поругались, потому что бабушка любого мужчину, независимо от возраста и социального положения рассматривала как мужчину, то есть поклонника). Происходило все очень профессионально, грамотно, то есть сначала человек обращался к терапевту, рассматривалось в общем его здоровье, назначались процедуры не только косметические, но и, так сказать, общемедицинские. Маникюрщица и педикюрщица были местные, ужгородские. Кроме этого у нее еще была уборщица, Ирина Майдурова, с которой мы там и познакомились. Чудная совершенно гуцулочка, спустившаяся только что с гор, абсолютно невинная и наивная, с чудными голубыми глазами, русой косой вокруг головы. Вот она у нее мыла полы, убиралась в салоне и заодно занималась такой же уборкой в квартире Зинаиды Леонардовны, тем более что жила она в том же дворе. С Ирочкой мы как-то очень быстро так сошлись, потом даже ездили к ней в ее родное село, где-то на вершине Карпат.

Конечно, Карпаты, Ужгород меня покорили, поразили, поскольку действительно необыкновенно красиво, интересно и просто по своему укладу жизненному совершенно не похоже на то, что было на советской территории. Город был еще даже более западный, чем республики Прибалтики. Там было очень много красивого: маленькие паровозики, крошечные, почти игрушечные, которые выпускали из себя кудрявые дымы, ползая по тоже кудрявым, густо заросшим зеленым горам. Я видела

Тереблю, видела Тису с этими плотами и плотогонами. С Ужгородского замка, в котором стоял Геракл, раздирающий змея, можно было увидеть сразу три страны. Потому что мысом таким в Европу вписывается эта Карпатия, Ужгородская область, и получалось, что и Румынию, и Венгрию, и Чехию можно было увидеть в одной точке.

У бабушки там, как всегда, возникла сразу масса народу, которая в нее влюбилась. То есть около нее всегда крутились какие-то люди, которые в нее влюблялись и совершенно искренне, без всяких не то что требований, но даже надежд на какую-то сатисфакцию, хотя бы какую-нибудь, делали все — от мытья полов, приношения продуктов, — просто вот, влюбляясь, служили. Бабушка принимала это как естественное, она вообще всегда царила. А потом эта влюбленность как-то достаточно быстро исчезала, бабушка разочаровывалась в людях, потом начинала разочаровываться в городе, потом — во всем этом месте, и у нее начинались поиски какой-то земли обетованной, начинались снова сборы и отъезды. Ну, вот в Ужгороде она задержалась довольно долго. Потому что писать нам письма о том, что хочет приехать снова в Ташкент, она начала, когда я уже училась курсе на втором, в общем, продержалась она в городе лет пять. Обеды ей носили из ресторана, какой-то тоже попавший под ее обаяние официант. Такие красивые тарелки, накрытые расшитыми рушниками. Питалась она крайне нерегулярно, это не было похоже на наш дом, где обеды были не столь пышные, но зато ежедневные. Бабушка вообще готовить умела, любила, получалось у нее это совершенно прекрасно, но делала она это крайне редко, в основном это были дни рождения. Я, правда, не запомнила число, но помню, что точно был конец декабря, она,

вообще, козерог. Вот тогда она делала свою знаменитую баранью ногу, начиненную чем-то, могла испечь любой торт, но это должно быть вдохновение, припадок, но никакой системы.

Основной претензией моей бабушки ко мне в Ужгороде было то, что у меня почему-то нет поклонников. Она считала, что жить давно пора. Потом мы с ней ходили в баню. Она меня оглядела, сообщила мне удовлетворенно, что у меня очень хорошая фигура, после этого вообще перестала понимать, чего же я такая очень сильно застенчивая. Действительно, застенчивая я в то время была в несколько патологической форме и количестве. Она в это время дружила с какой-то дамой, у которой был сын, мой ровесник. Меня с ним познакомили. Это был грустный, неразговорчивый, высокий и какой-то как бы пылью припорошенный мальчик. Нас оставляли все время вдвоем. Мы молчали, он — угнетенно, я — раздраженно. Ну в общем, ничего не вышло. А подружилась я с Валеркой, сыном этой самой маникюрщицы. У него была своя компания девчонок и мальчишек, вот с ними мы и ездили. Такой чудный мальчишка, кудрявый, некрасивый, маленький, простой, без всяких претензий к флиртам каким-то там, влюбленностям, что меня вполне устраивало. Вот с ними мы как-то по Закарпатыю и поездили.

А я с большим удовольствием лечила лысых мужиков. Мне доверялся д'орсонваль, прибор такой. Ну, сначала я чего-то там вмазывала, а потом этим самым д'орсонвалем распускала всякие голубые искры на этих лысынах. Все были довольны, особенно я. Ну вот, а потом мне нужно было ехать домой учиться, и мы распрощались с бабушкой, и даже, в общем-то, мы с ней сумели не поссориться за все это время. И я уехала, увозя с собой кучу впечатлений.



З. А. Хмолвская в Ужгороде. 1960 г.

Потому что одна черешня чего стоила, которой были обсажены все дороги. Которой было безумное количество и которая продавалась страшно дешево. Но интересней всего то, что она продавалась в чудесных корзиночках, которые вообще ничего не стоили, а просто служили, так сказать, тарой для продажи вишни. Эта корзиночка у меня до сих пор жива. У нее потерялась ручка, потерялась крышечка, но сама корзиночка, высоконькая такая, очень симпатичная, в общем, старенькая, но до сих пор существует. И с бабушкой мы продолжали переписываться. Но скоро ее племянница перестала понимать, что она там делает, потому что занималась она в основном

стиркой, базаром, беготней всякой, и никакого ученья обещанного, никаких университетов, школ, ну вообще ничего бабушка ей, конечно, не предоставила. Она вернулась домой, и в очередной раз Стелла разругалась со своей сестрой, очевидно, это у них перманентное было состояние в течение жизни. Со Стеллой мы больше не виделись, не было причины иметь отношения, они и не начинались, поэтому они и не продолжались. Вот. А потом бабушка вернулась снова.

Предварительно были письма — помогите мне найти квартиру, я здесь умираю, я больна, я приезжаю в Ташкент умирать. В общем, в Ташкент она всегда приезжала умирать, а потом снова, значит, куда-нибудь уезжала. Вот и в этот раз было много писем, и письма были какие-то... Ну, совсем не понимала она нас, мы разные люди были. Потому что в письмах она вместо просто элементарной просьбы «помогите с обменом квартиры» пыталась нас как-то не спровоцировать даже, а подогреть наш интерес к этому тем, что я буду вписана в ордер на квартиру, что у нее много вещей, это все Галке останется и так далее. В общем, никаких вещей нам, конечно, не нужно было. Все эти вписывания в ордера в те времена ничего не стоили и ничего не значили. И это все только отвращало, а не сподвигало на какие-то подвиги. Ну, в общем-то, мы ей помогли. Квартира была, конечно, не такая хорошая, как на Инженерной, хотя бы тем, что она была просто в районе другом, рабочем городке, довольно далеко от центра города. Две комнаты, одна проходная, и еще небольшая пристройка на терраске. Тоже темная комната. Она тут же развесила опять эти свои толстые темные занавеси, поставила громадную широкую кровать, завела собачку Белочку, которая постоянно лежала с ней

на кровати, под кроватью стоял горшок, который не выносился сутками, пока не наполнялся.

Над кроватью всегда висела одна и та же литография, она висела и на первой квартире, и в Ужгороде, и с ней же она переехала сюда. На литографии был изображен Иисус Христос, значит, идущий по облакам и несущий на руках агнца. Эта литография у нее была вместо иконы. С Богом у бабушки были отношения достаточно, я бы сказала, фамильярно-деловые, какие-то немножко коммерческие. Когда ей нужно было что-то, она очень быстро крестилась и очень быстро произносила просьбу. Типа того, что, ну вот, я иду что-то купить или что-то сделать, — помоги мне, чтобы это случилось. Меня это немного смущало. Сама я была тогда убежденным атеистом. Правда, нужно сказать, что бабушка сделала одну попытку, хорошую попытку тогда, приблизить меня к Богу. Я, как всегда, много болела. В конце концов, бабушка заговорила с мамой, что, пока Галка не крещеная, она будет болеть, ее надо крестить. Мама согласилась очень легко. Район назывался госпитальный, потому что там было много госпиталей, и собор тоже в народе назывался госпитальный. Бабушка отвела меня в этот самый госпитальный собор, я не знаю настоящего названия. Там в каком-то маленьком, тесном приделе этой церкви вышел батюшка, довольно пожилой, тихий, умный. Ну, бабушка так, опять-таки со своей этой манерой светской львицы — вот, девочку надо покрестить, вот, моя внучка, — улыбается. В общем, ведет себя, так сказать, на мирском уровне. Но священник говорит: девочка большая, с ней надо поговорить (я была в девятом классе). Подвел меня к окошку, а вы, говорит, постойте в сторонке. Посмотрел на меня внимательно — ну что, говорит, ты в Бога-то

веришь? Я ему тут же очень активно и убежденно сообщила, что Бога нет и поэтому я верить в него не могу. Он сказал: ну что ж, как же ее так крестить. Бабушка очень расстроилась, потому что она с ним договорилась, она думала, что дело будет сделано. Вечером она корила меня, корила, я упорно стояла на своем, что Бога нет, и точка. Тем более что ее отношения с Богом как-то меня немножечко смущали, хотя она считала себя убежденной христианкой.

Еще у нее под этой литографией висел портрет. И хотя бабушка меня в конце уже, когда у нас с ней отношения испортились, предала (какая-то сплетня до меня дошла, что я к ней ходила до тех пор, пока ей было что мне давать, вот, как вещи кончились, я перестала ходить), все это, в общем, настолько не правда, что я даже не обиделась. Да и она это сказала, по-моему, просто не зная, как сформулировать иначе. А хотелось бы иметь из того, что у нее было в доме, эту вот самую фотографию. Может быть, у нее где-то были эти самые фотографии, но не удосужилась я попросить. На фотографии были ее отец, Леонард Хмолковский, и мать, про которую я даже не знаю, как ее зовут. Он, красивый, усатый, бородатый, в генеральском чине, сфотографирован в мундире, с эполетами. Рядом женщина. Судя даже по фотографии вот этой, поясной, она много ниже его, худенькая, с мелкими, такими милыми, но не яркими чертами лица, совершенно такая вот, славянская скромная женщина. А отец очень яркий, причем он поляк. Я еще тогда бабушку спросила: вот поляк, это же католики, а вот ты христианка. Она сказала, что папа, он тоже христианин, он был католиком, но крестился, принял православие. Иначе он не сумел бы кончить высшее, какое-то очень престижное военное

заведение в Петербурге. Я не буду называть это, потому что бабушка иногда говорила Александровский лицей, иногда Пажеский корпус, иногда еще что-то. По-моему, она сама точно не знала, путала, но что заведение было престижное и что он получил потом очень хорошее назначение, — это точно⁴⁰. А попал он, по окончании этого высшего заведения военного в Мары и Чарджоу, потому что его родной брат, оставшийся в Польше, участвовал там в каких-то революционных смутах, которые все время терзали Польшу. И он там не просто занимался подпольной деятельностью, а с оружием в руках выступал на каких-то не то сражениях, не то баррикадах. Ну, в общем, был очень активным борцом против русского засилья в Польше, выступал за самостоятельность своей родины, Речи Посполитой, и был арестован и то ли сослан, то ли погиб. Этого бабушка не знала. В результате того, что брат был на той стороне, старший брат, Леонард, поплатился своей карьерой, тем, что он был сослан на самый край русской земли. Там он находился в чине военного губернатора этой вот Закаспийской области. В Чарджоу они жили и в Мары, там бабушка родилась и Стелла. Ну, к заслугам Хмолковского можно отнести то, что он был инициатором и организатором строительства громадного Чарджоуского моста через Амударью. Бабушка говорит, что он помер своей смертью еще перед революцией.

⁴⁰ Согласно справке РГВИА (полученной в марте 2006 г.) Хмолковский Леонид Васильевич, поручик, род. 14 января 1866 г., происходил из дворян Могилевской губернии. Воспитывался во 2 Московском кадетском корпусе и 3 военном Александровском училище. В 1893 г. переведен по собственному желанию во 2 Туркестанский стрелковый батальон. Женат на дочери астраханского 2-й гильдии купца Кулькова Анне Васильевне. Детей не имел (данные по сост. на 31.12.1894 г.).

Не знаю. Я не знаю судьбы ее родителей, своих прабабушки и прадеда, а сама бабушка вышла замуж в пятнадцать лет, чем очень гордилась. И всегда об этом рассказывала и родила Глеба, своего первого сына, в шестнадцать.

В Ташкенте у нее уже, конечно, никакого такого салона не получилось. Но зато она занялась другой деятельностью. Находиться в тени она совершенно не могла, она начала вспоминать революционные подвиги. К ней ходили постоянно какие-то пионеры. Эти тимуровцы пытались заниматься у нее уборкой. Уборкой у нее заниматься было, конечно, крайне тяжело. Потому что, когда она, например, решила меня научить печь какой-то пирог и мы вытащили мешочек с мукой, там было килограмма три-четыре муки, кроме того, там был один чулок, один гребешок и еще что-то такое же своеобразное. Ну и так же, в общем-то, все было кверху ногами. Значит, она начала вспоминать свои революционные заслуги. У нее их собственных не было, но были заслуги ее мужей, которые имели какие-то чины, звания, какая-то высшая партийная верхушка. По крайней мере, пара мужей из этой партийной верхушки у нее была. Ну и она вот начала печататься в газетах. То есть приходили пионеры, мало того, что они убирали квартиру, они постоянно ее принимали в почетные пионеры. У нее этих галстуков красных было штук двенадцать. Она ими беспощадно пользовалась как тряпками: что-то подтереть, вытереть, подвязать. Но тем не менее ее постоянно принимали, появлялись в местной прессе фотографии, где ее в очередной раз приняли в пионеры, и появлялись биографии. Я, прочитав так штуки три, даже, помню, всерьез за нее испугалась и спросила: «Ты не боишься, что кто-нибудь сравнит все эти биографии и выставит тебе



З. А. Хмолловская, неизвестная, Глеб Баранов. Сочи, 1939 г.

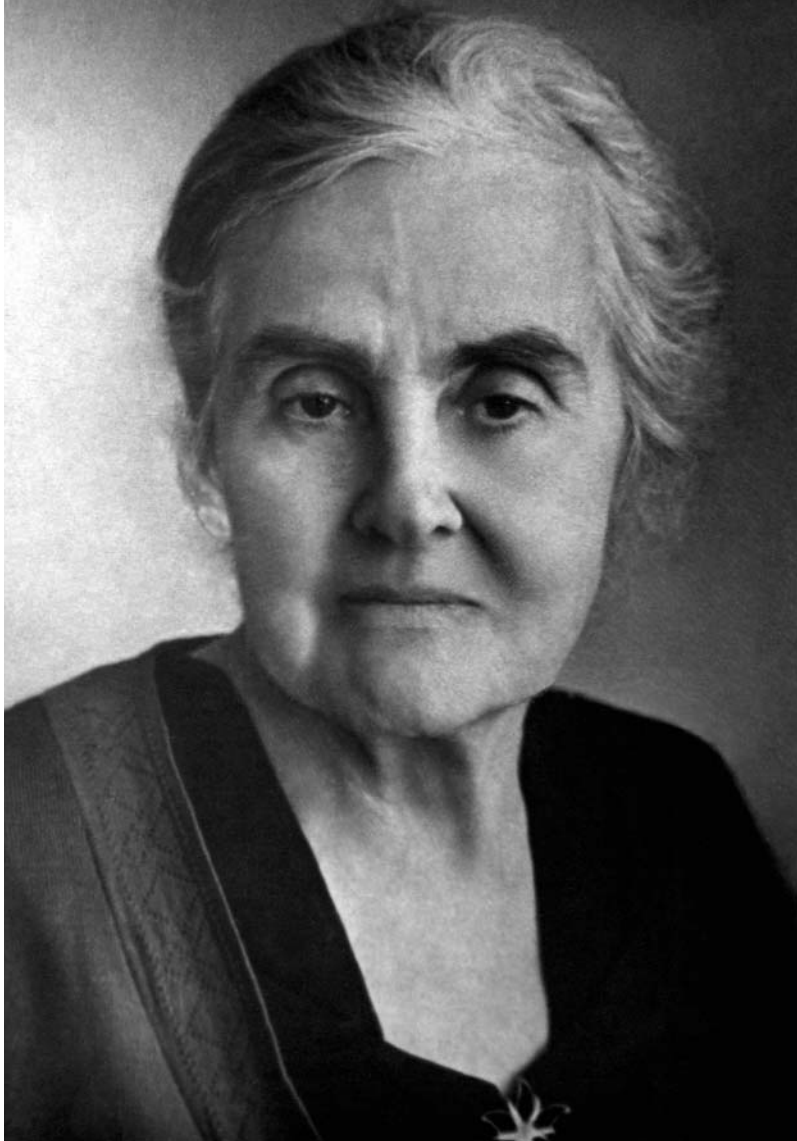
претензии в фальсификации фактов?» Бабушка сказала: «Ах, ну подумаешь, ну и что ж!» — и сочиняла четвертую биографию. Одна деталь из этой ее редакционной биографии была постоянной. То есть что у нее была необыкновенно толстая коса, необыкновенной красоты, в эту толстую косу влетали какие-то донесения, и она, значит, проходила границу белых и красных, в этой косе пронося эти самые донесения. Никогда, никто не додумывался их там найти. Ну, она, конечно, была на стороне красных, естественно.

Потом она вступила даже в какое-то общество бывших революционеров, которое базировалось в нашем ташкентском Доме офицеров. Там были в основном мужчины. Мне почему-то кажется, что она там с таким удовольствием и находилась только потому, что там уж очень большой мужской коллектив. Правда, все они были довольно старые. Один из этих старых революционеров стал появляться подозрительно часто у нее дома. Но он был такой скучный, такой тихий, такой неподвижный, что я поняла — не надолго он здесь задержится. Так и вышло — через некоторое время у бабушки просто свело скулы, и он исчез. А потом как-то эта ее революционная деятельность ей надоела. Потому что постоянно приниматься в пионеры, постоянно писать свои биографии, — ну, а дальше-то что? Как-то вот никакого толка. В общем, она остыла к этим сборищам революционным, перестала туда ходить.

Шоколадные конфеты были всегда, поскольку поклонники были всегда и приносили всегда шоколад. Хлеб был не часто на столе. Но бабушка уже в это время, все-таки она была уже пожилая, действительно начинала болеть, порой она даже ложилась в больницы. Прием она

вела частный, к ней ходили, получалось у нее по-прежнему все это очень хорошо. Например, Майке Тохтаходжаевой (у нее было лицо как перепелиное яичко) она его сделала совершенно чистым, свела все ее веснушки, которые были даже и не рыжего цвета, а просто черного. Действительно, она косметологом была очень хорошим, и уговаривала меня. В общем-то, она меня хорошим вещам уговаривала. Сначала она пыталась научить меня вышивать, потому что про вышивку она знала решительно все. И даже подрабатывала во Дворце пионеров в каком-то кружке. Она вышивала не просто как ремесленник, то есть переводила рисунок, а потом его вышивала. Например, на столе стоял букет рудбекии, в вазе, и вот, глядя на этот букет, она натянула в пальцы черную шерсть и великолепно создала натюрморт с цветами на ткани. Потом он висел на стене. И сделано это было ну очень, очень здорово. Еще, надо сказать, несмотря на то, что она была такая вся любительница поклонников и всего прочего, на жизнь она зарабатывала себе достаточно самостоятельно и квалифицированно. И нытиком она совершенно никогда не была, на никакую там непогоду, безденежье она никогда не жаловалась. Единственное, на что она жаловалась, — «я умираю». При этом так: приходишь к ней в гости, открывается дверь, стоит бабушка, сильно страшная, вся взлохмаченная, вся бог знает какая, в каком-то совершенно растерзанном халате, но — дорогом. И сообщает театральным шепотом: я умираю. Так прямо буквально начинает в косяке двери на пол падать. Ну, а через полчаса, когда попьем чаю, когда снова начинаются какие-то воспоминания, она — всё, уже забыла, что она помирает, что она болеет, и — порхает и вся-вся-вся из себя энергичная и бодренькая.

У нее была скатерть, очень интересно задуманная, на этой скатерти, круглой и большой, были абсолютно все способы вышивки, которые существуют на белом свете. И все это было закомпонировано в довольно приличную композицию, то есть не выглядело эклектично. Была вышита ровно четверть. Она сказала: «Вот еще три четверти вышьешь, и ты будешь знать о вышивке все». Но я тогда была такой романтик, уж куда мне там было вышивать, в общем, я как-то уклонилась. Потом она мне стала предлагать: «Я все равно уже старая, больная, вот я умру, — и кому это все достанется? Давай, я тебя всему научу, все свои рецепты расскажу». А у нее действительно было много — д'орсанваль, какой-то ионизатор, какие-то массажеры, — то есть электрических приборов, причем на невероятную цену, каких-то совершенно дефицитных, которые она возила из Китая, из Риги, возила всегда за собой, уж с этим-то она совсем никогда не расставалась. Их было очень много, можно действительно было оборудовать высококлассный профессиональный косметический салон — «Вот это все будет твое, у тебя будет специальность в руках, ты никогда не умрешь с голода». Ну куда там мне быть косметологом, если бы она соблазнила меня океанологией, или археологией, или еще чем-то таким же ужасным, то тут бы я согласилась с двух слов. А это мне было совсем как-то скучно, не интересно. Таким образом, все так вот втуне и прошло. Потом бабушка меня пыталась познакомить еще с какими-то юношами, все удивляясь, что же я вся такая одинокая и около меня не крутятся рои поклонников, как около нее крутились. И все она выставляла мне какие-то претензии, что я все не так делаю, не так себя веду, и вообще — не женщина.



З. Л. Хмолвская. 1965 г.

А потом у нас начались какие-то трения в наших отношениях, то есть меня стало утомлять то, что я не интересую ее совершенно. Она не могла запомнить, где я учусь, на кого я учусь, никогда не спрашивала, как у меня прошла сессия. Все друзья мои ей не нравились. Дома, со Стасиком у нее не сложились отношения, эти поляки, представители польского дворянства, были два таких разных, полярно противоположных человека. Она совершенно не могла понять, ну как это, Стасик не прыгает, не бегаёт, пальто не подает, стулья не предлагает. Станислава она раздражала невероятно, поскольку он терпеть не мог этих вот шумных проявлений всякой пустоты. Бабушка у нас в доме чувствовала себя неудобно, надо сказать. Единственное — когда они с Висневским столкнулись в доме, тогда почувствовали, что они — одного поля ягода. Тем не менее Висневский сразу почувствовал ее женскую агрессию, а бабушка — его требовательность мужскую, и они, оглядев друг друга и обнюхав, как породистые собаки, осторожно как-то разошлись. Но после знакомства с бабушкой Висневский мне вдруг заявил: «Теперь я понял, на кого ты похожа». Я очень удивилась, потому что: мои маленькие глазки — и бабушкины глазища, ее талия — и моя, и прочее... Но очевидно, что-то более глубинное он увидел, и как я потом убедилась в течение своей жизни, был глубоко прав.

Мои визиты к бабушке просто потеряли интерес, они стали обязательными, а я, в общем-то, была избалована тем, что столько вокруг народу интересного, к которым ходить — и хочется, и нравится, и они тебе очень рады. А здесь это становилось немножко в тягость. Потом получилось так, что я вышла замуж, и совершенно не помню, была она у меня на свадьбе или нет. По-моему,

нет, выбора она моего не одобрила. Когда я стала беременной, она вообще ни разу у нас не была. Когда у меня родился Антон, она меня не поздравила, к нам она не пришла. А когда Антону было месяца четыре и мы только что вышли из больницы, причем после совершенно смертельного риска для ребенка, я только начала приходить в себя и обнадеживаться, что мы, может быть, останемся живы, пришла Фрума Израилевна, ее ближайшая соседка, еврейка, которая шикарно мне лечила зубы (по протекции бабушки, конечно). Она пришла возмущенная — бабушка болеет, она одна, ты к ней не ходишь, так нельзя, это некрасиво. Вот. Я попыталась ее пригласить наверх, но она так и осталась стоять внизу, я — на террасе. И еще это — сверху вниз разговор с человеком, который врач, который хорошо тебе лечил зубы, которого я уважала, выглядел как-то некрасиво, нехорошо. Мне до сих пор от этого как-то неправильно. Я попыталась ей объяснить, сказала, что у меня маленький ребенок, он очень болен, я совершенно не могу сейчас никуда ходить. А она что-то продолжала, накрученная бабушкой, продолжала возмущаться. Ну и я тоже что-то резкое сказала. Типа того, что, уже в течение полутора лет она совершенно не хочет знать меня. Почему, собственно, я должна так уж беспокоиться о ней, если человеку совершенно все равно, что со мной. Я действительно была тогда как-то уязвлена тем, что ни я, ни мой сын ее не интересуют. Ну, Фрума Израилевна ушла, может быть, не такая гневная, как пришла, но, я думаю, что все-таки она ушла уверенная в моей неправоте и в правоте бабушки. Может быть, оно так и было, потому что, действительно — старый одинокий человек, и я должна была найти силы и время для этого. Ну, так получилось,

я чувствую себя виноватой в этом, но я уже в этом покаялась. Не знаю, может быть, за это я еще и плачу, какими-то своими бедами, но — так вот вышло. Хотя мама, уж насколько она абсолютно никогда никого не осуждала, как-то сказала про визит Фрумы: «Галя, бабушка никогда не была матерью. Она никогда не сможет понять, что у тебя сын, что он что-то требует. Она всегда требовала любви только к себе. Не думай об этом. В общем, в жизни, так или иначе, все справедливо» На этом все и закончилось ⁴¹.

Мой отец — Глеб Баранов. Отчества я не знаю, поскольку бабушка моя — Зинаида Леонардовна Хмолловская — не помнила, как звали ее мужа, поскольку мужей было слишком много. Детей было трое. Мой отец был старший, еще был сын Костя и девочка Галя. С сыном Костей случилась беда: он попал в колонию для несовершеннолетних. Сначала потерял там глаз, потом погиб там же от туберкулеза. Свою дочку бабушка забыла на вокзале во время Гражданской войны. Она довольно долго ждала поезда в Ташкент, и у нее возник с кем-то роман, она так увлеклась этим, что когда уже села в поезд, вспомнила, что у нее был ребенок. Вернуться было уже невозможно, так девочка где-то и осталась на вокзале. Бабушка была нерадивой матерью, но детей она могла своих закармливать пирожными на спор — она, например, с удовольствием рассказывала о том, что однажды с одним из своих

⁴¹ Последние сведения о З.А.Хмолловской носят характерный для нее фантастический оттенок. Она очередной раз уехала из Ташкента, куда — неизвестно. Кто-то из ее ташкентских знакомых получил открытку, из которой можно было понять, что она с неким поклонником отправляется чуть ли не в Австралию. Никаких сведений о ее конце не появилось (*прим. А. У.*).

очередных поклонников поспорила, что сможет съесть, я уже не помню, то ли двадцать, то ли тридцать пирожных. Посадила двух своих детей, Костю и Глеба, под стол, скармливала им туда крем, а бисквит она сумела съесть сама. Спор был выигран. Но детей она довольно часто оставляла одних, почему, собственно, Костя и попал в колонию для несовершеннолетних. Деваться ребятам было некуда, поэтому они тащили все, что было в доме, в комиссионку, продавать. Ну, а потом и воровать начали, по крайней мере, младший. Про моего папу мама рассказывала, что как-то раз бабушка забыла его в Харбине, там она жила года два или три, попав туда по линии Красного Креста. Потом она оттуда переехала, а сына почему-то оставила там. Он из Харбина, это все-таки далекий Дальний Восток, Китай, добирался до Ташкента целых два года. Когда приехал, у него как-то уже совсем мало оставалось зубов, несмотря на молодой возраст, а ему тогда не было еще и двадцати. Учеба у него тоже была, в общем, какая-то не очень организованная в результате. Ну, скажем так, не очень большое внимание со стороны мамы, но тем не менее какой-то горный техникум он окончил. И во время Отечественной войны он работал на рудниках Ангрена⁴² горным инженером, откуда и был взят в армию. А до этого бабушка ему как-то устраивала бронь. После того, как он разошелся с моей мамой, которую очень любил, он, в расстроенных чувствах, отказался от брони. А может быть, это версия Зинаиды Леонардовны, может, просто бронь больше было достать невозможно. В общем, он был призван на фронт и пропал без вести, последнее от него письмо, по словам мамы, было получено из-под

⁴² Ангрэн — горный приток р. Сырдарьи.

Курска. В каком году, я точно сказать не могу. Я родилась в 1943-м, четвертого марта, летом они уже были разведены.

Да, вот еще, — бабушка не была человеком глупым, она была человеком умным, но необразованным. У нее не было той книжной образованности, к которой я привыкла в своем окружении. У нее всегда была раскрыта книжка на кровати. Она читала в постели, это всегда были детективы. Но природный ум у нее был и общая образованность тоже. Да, и еще: впоследствии я узнала, что назвали меня Галей по настоянию бабушки. Потеряв свою дочку Галочку, она хотела иметь внучку Галочку, а мама хотела меня назвать Еленой. Я думаю, что если бы я была Еленой Глебовной Барановой, у меня была бы совсем другая жизнь.

АНТОН

Август 1969 года. Мы живем в коммуналке на Садовой у тети Нюры. Пришла Талка, Антон спал. «Можно я его поцелую?» Целовала пальчики, смеялась, умилялась, оставила гостинцы. Я подарила ей цветные толстые варешки литовские. Купила накануне черную кроличью шубку (в магазине сказали «на три года»). Антону она пришлась впору в неполные два.

Мы приехали в Палангу в начале июля, прожили сорок дней, дней десять — двенадцать жили в Ленинграде, ждали билетов в Ташкент. Семимесячный день рождения 26 июля был отпразднован в Паланге (утро без творога, днем — пиво с сосиской).

В августе в Русском выставка Матисса. Я в туфлях на каблуках, Антон (четырнадцать кг) на руках, пешком, трамвай, пешком и — зал. Масло и графика. Очень солнечный день и все залито светом. «Танцующие мальчики» на стене против входа, и повешена картина высоко. Антон тут же выставил вперед руку с перстом — «Туда!» И бурная радость! И все время осмотра серьезен, внимателен, но после трех-четырёх экспонатов стремительный разворот к «мальчикам», и — восторг с подпрыгиваниями, возведениями рук и страстным мычанием. Смотрительница предложила подержать младенца, дать мне передохнуть. Антон с ней пококетничал, но вцепился в меня изо всех сил. Графика была разложена в застекленных столах, прикрыта шелком. Мне приходилось смотреть ее,

изогнувшись, ибо Антон почти падал носом в витрину и пытался возить пальцем по стеклу. Реакция у нас полярная. Я решила, что такая чепуха приобретает ценность с именем, Антон явно и очевидно воспринял как самоценность. На прощание принесла его снова к «мальчикам». Устало взглянул и ни гу-гу. Ног у меня уже не было. Помню, что на последних метрах перед домом подумала, что очень тороплюсь, такие подвиги вряд ли нужны. Что может остаться в семимесячной голове? Но свойство и привычка, заложенные мамой, — хорошее, интересное, вкусное — вместе. Тогда нужно было идти с мамой, почему мы не пошли втроем? Не помню совсем. Наверное, по простой причине — пеленки, обед. Прошло тридцать три года. И оказалось, что все было вовремя. Выставка в Русском самого Антона будет через сколько лет?

21 окт. 2002 г.

P. S.

Я задала себе этот вопрос в августе 69-го, и вот — случилось. В декабре 2005-го картина Антона висит в Русском, на выставке «Коллаж в России. XX век». Надеюсь, до персональной выставки пройдет меньший срок.

25 дек. 2005 г.



Антон. 1973 г.

Последнее лето

Взгляд со стороны

В начале июля мы уезжали в Талас. Весь июнь пытались найти, куда вывезти ребенка. Мотались по горным кишлакам, расспрашивали знакомых, на «море» не хватало финансов, а что-нибудь поблизости никак не вытанцовывалось. Наконец, всплыл Талас из рассказов-рекомендаций Ромы Канторера. Я поверила в основном из убеждения, что евреи своих детей в плохие места не возят.

Уезжали с автостанции ранним вечером, ночь в дороге, утром будем на месте. Мама со Стасиком нас провожали. Папа заметно нервничал, огорчался разлукой, и все пытался чем-нибудь порадовать внука, но ничего, кроме запретного мороженого, окружение не предлагало. И тогда, порывшись в карманах, Стасик вручил Антону в последний момент юбилейный рубль. Тошка уже сидел в автобусе у окна, через окно его и получил. Дед улыбался, даже смеялся, а из глаз текли слезы. Сколько раз провожал нас и никогда не плакал. Автобус сделал полукруг, вырuling на шоссе, и мой последний взгляд, уже со стороны — спеша, под руку, пересекают улицу, Стасик явно торопит маму, и они почти бегут, разминувшись с машиной в секундах и метрах. Сжалось сердце — такие родные, ставшие вдруг какими-то маленькими, и уже чуть тронутые хрупкостью старости. И такие совместные, похожие, что — почти одно. Не знала я тогда, что вижу их вместе в последний раз. Не просто в последний раз живого



М. И. Землянова-Рожановская, С. Ю. Рожановский, А. А. Мельников (сослуживец по армии с 1920 г.), Н. А. Мельникова. 21 октября 1972 г.

Стасика, но вообще в последний раз. Проводит его мама одна, без нас, без меня.

Совсем другого я видела папу чуть раньше, в конце мая, переходящим дорогу, только что с экспедиционного грузовика, еще видимого в конце улицы. Рюкзак, рукава рубашки закатаны, шаг упругий, весь — сгусток энергии, дела. Дома он таким не был, всегдашняя внутренняя собранность прикрыта нежной внимательностью или усталостью, или скрываемым терпением боли. Какое-то время после экспедиций в нем, загорелом, высушенном пустыней, оставалась эта наполненность страстью, дисциплиной работы. Он становился значительней, масштабней, вся внешность его обретала черты не доброго, уютного

папы-деда, а ученого. Глядя на него такого, думалось, что если бы тропический шлем на эту умную голову, то обложка журнала «Вокруг света» — готова.

Не спалось мне той ночью в дороге. Вспоминались другие поездки в сторону Семиречья. На Иссык-Куль с мамой, с друзьями, по Чуйскому тракту с тайным штабом крымских татар, во Фрунзе к Говоровым. ...Люблю дорогу, очень люблю дорогу. Это чувство свободы, простора, начала, сорванности с места, предвосхищения нового.

Слезы Стасика, неожиданные, тронувшие, вернули меня к последнему, прощальному взгляду на них, а потом к тому Стасику — не папе и деду, а Станиславу Юлиановичу — морфологу, ботанику с рюкзаком и рабочей тубой с кроками... Весь вид его, еще совсем нездешний, говорил, что человек сделал свое дело, и сделал хорошо. И то, что привез он, сулит удовольствие думанья, месяцы кропотливой работы с микроскопами, срезами, рисунками и чертежами, анализа и жесткой проверки выводов. Он остановился у тротуара, помахал вслед удаляющемуся грузовику, а я взорвалась от радости (дома не был шесть недель!), вприпрыжку за ним и — на шею: «Папа!» Вечером, глядя, как он никак не может напиток чаем, слушая первые, пока еще скупые рассказы, думала с грустью, что он бы мог еще столько успеть, если бы раньше пришел в профессию, что нельзя ему в пустыню, с его глаукомой, ногами, сердцем, что мощный потенциал воли, ума, жажды работы не израсходован и наполовину, а здоровье и возраст... Без работы он не сможет. Наше первое лето на Высоковольтной — мы еще не прижились, еще не поняли, что потеряли и что приобрели. Папе ближе ходить на работу, именно ходить, если выйти чуть



С. Ю. Рожановский. Кызылкум, 1960-е гг.

пораньше, можно даже обойтись без транспорта. А когда мы жили на Учительской, то постоянный многолетний маршрут был таким.

Служебный автобус развозил сотрудников Института Ботаники из поселка Луначарского, где тот был расположен, после работы по городу. Для папы удобнее всего была остановка у сквера Революции. Дальше — по Пушкинской вниз, мимо памятника Гоголю, мимо консерватории, главпочтамта с угловым входом (закрытым со времен, когда брали почты и телеграфы) и двумя львятами по бокам пятиступенчатой лестницы. Спины у львов лоснятся, на них поколение за поколением сидят дети, сидела я, успел посидеть Антон. Угловой хлебный магазин — посещение его обязательно, хлеб покупает только папа, мамини обязанности потяжелее, ее путь с работы лежит

через Алайский базар, а ввиду отсутствия холодильников, ежедневность покупок неизбежна. До хлеба куплены газеты в дополнение к тем, что разносит почтальон.

Довольно часто случалось идти по Пушкинской и увидеть нежданно перед собой папу. Идет медленно, хлеб под мышкой в газете, в другую — носом. Большоголовый, сутуловатый. Реакция всегда одна — радостно и чуть больно дрогнет в груди, и — продлеваю наслаждение, иду, только слегка сближаясь, радуясь встрече и удаче вместе идти домой. Нам — до Ассакинской, это перекресток важных путей и вех. Когда-то здесь стоял самый большой собор в городе, его взорвали, а площадь осталась, так что получилось перекрестие просторное, со скверами, направо — строительный факультет и мой родной архитектурный, чуть дальше — самый любимый парк имени Тельмана, река Салар, больница Семашко.

Русский, колониальный Ташкент спланирован по образцу столицы империи. В основу положено трехлучие, и улица Пушкинская для Ташкента — это как Невский для Питера. И ориентирована так же с запада на восток. Когда Пушкинская пересечет арык Дархан, она потеряет свой парадный вид и закончится памятником Пушкину, окруженным сквером. А за ним вдали маняще и ясно — снежная шапка Чимгана.

Мы же поворачиваем направо и по улице Каблукова до первого перекрестка, мимо будки холодного сапожника, овощной лавки, на углу — аптека, направо — наш отрезок Учительской, начинающийся дубами. В первом дворе живут Остроумовы, потом крыльцо квартиры моей несостоявшейся учительницы музыки, следом парадное Акбаралиевых и ворота нашего двора. Можно зайти и пройти двором, но чаще мы идем дальше, мимо

Ситниковых, Аристовой, парадного Болотиных в свою калитку. Двор — подковой и входа — два.

Это постепенное приближение к дому, особенно летом, то есть большую часть года, было не просто рутинным возвращением. Прохладу, тишину, уют дома начинаешь чувствовать загодя, и это чувство физически нарастает. Уже поворот с Пушкинской меняет масштаб, ритм, плотность толпы, утихает звон трамваев, на более узкой Учительской — настой дубовой листвы, журчание воды в арыках, прохлада политых тротуаров. Во дворе еще прохладнее, тише и различимы ароматы цветов и, наконец, — терраса, увитая виноградом, розами, луноцветом. В самом доме с его толстыми саманными стенами прохладно даже в июле (объективно: если на Ассакинской термометр показывал $+36^{\circ}$, то на нашей террасе $+24^{\circ}$).

И вот мы дома. Мама уже у плиты, я присоединяюсь к ней. У Стасика вечер начинается с душа, потом ужин, вечерние газеты на террасе с котом на коленях. С наступлением сумерек начинался полив. Папа уливает палисадник, площадку перед террасой, доливает воду в бочку над душем и делает это с удовольствием. К ночи двор полит всеми и весь. Ночь наполняется густым и влажным запахом цветов, травы, листьев.

День кончается вечерним чаепитием на террасе, временем неспешных разговоров, рассказов, новостей, все дела сделаны, на столе лампа с зеленым абажуром. На свет прилетают ночные бабочки, с грохотом приземляются жуки-носороги, на освещенной стене чуть подрагивают прозрачными изумрудными крылышками золотоглазки. Вокруг — тьма непроглядная, и надо отступить в темноту, дать привыкнуть глазам, и тогда видишь и темные кроны грецкого ореха, яблонь, и густо испещренное крупными

звездами небо, и освещенный стол, за которым двое что-то говорят друг другу. Внимательные, дружелюбные, готовые к улыбке лица.

Стасик спит на террасе, начинает свой летний сезон с середины апреля, заканчивает первого ноября. Мама всегда в комнате. Меня зачастую отрывают от вечернего чаепития мои многочисленные друзья-приятели. Возвращаюсь далеко за полночь и досыпаю остаток ночи на террасе. Если же проект, то я (и чаще всего с кем-нибудь из нашей группы) на нашем большом столе чертим, отмываем до рассвета, пьем кофе и шумим, конечно. Мама откочевывает в переднюю, папа спасается берушами.

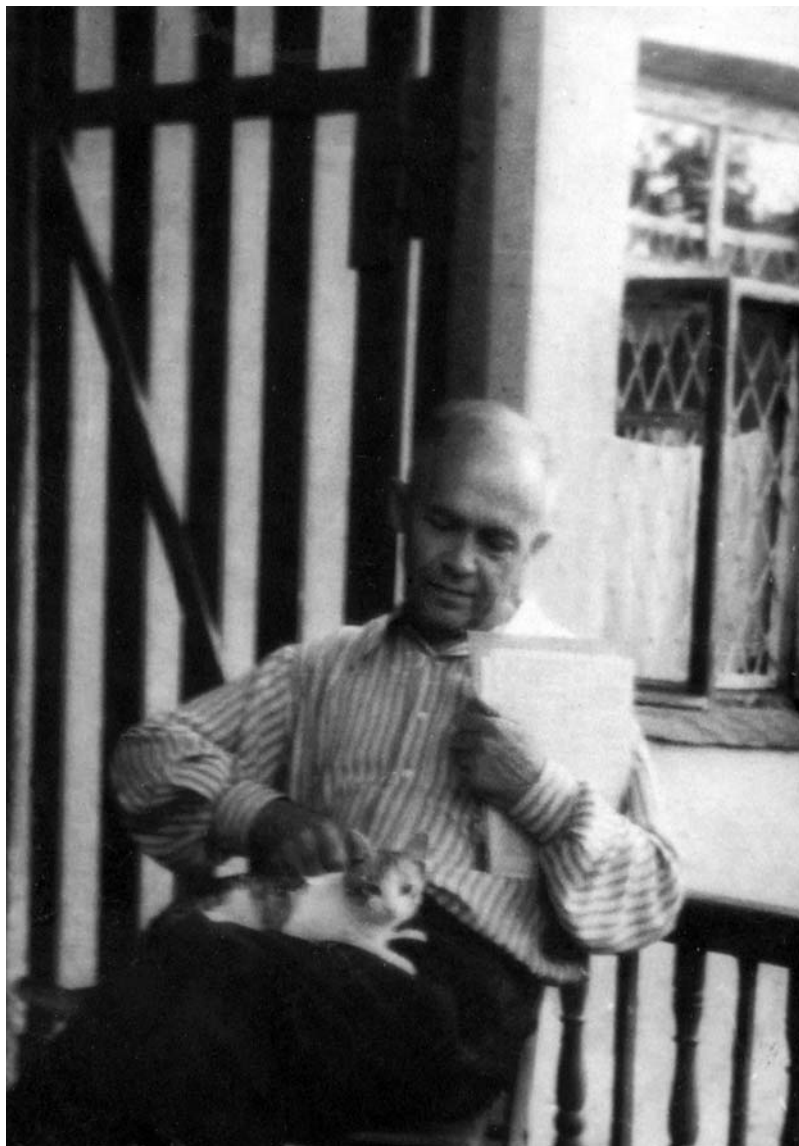
Утром Стасик всегда делает зарядку, он ее делал даже в утро ташкентского землетрясения, чем рассмешил нас, а заодно успокоил и перевел в режимное состояние, — чтобы ни случилось, но после зарядки глава семьи завтракает.

Господи, как хорошо нам было в доме на Учительской, это был Дом, и он нас любил; как сложится жизнь в квартире, которая — точно — только квартира, но совсем не Дом? Вина будет на мне.

Талас

Талас⁴³ оказался плоским, унылым городком, расположившимся в широкой долине, окаймленной далекими и пологими горами. Река Талас разлилась многочисленными рукавами, протоками, ручьями. Дно мелкое, каменистое, течение быстрое. Заводы и запруды редки, так что купаться затруднительно, а плавать и вовсе негде. На отмелях и островах заросли тополя, ивняка, облепихи, все заплетено хмелем и ломоносом.

⁴³ Небольшой город на северо-западе Киргизии.



С. Ю. Рожановский на террасе с котом Пуськой. Август 1956 г.

Адресом нас снабдили, трудностей с поиском жилья не было, но я не очень поняла, что мы будем здесь делать целых четыре недели. Манили горы, и я потащила своих в Ак-Су, почти на родину Чингиза Айтматова. Прожили мы там два дня. Хозяева радушны, горы настоящие, масштаб, воздух, красота! Но кроме малины и молока ничего нет. Магазин на колесах приезжает раз в неделю, есть столовая для шоферов, но нужны талоны, их можно купить в сельсовете, а он закрыт. Лисс⁴⁴ обиделся, что нет душа, Антон поссорился с теленком. Я поняла, что не справлюсь и нужно спускаться в долину. Возвращались на попутном «Камазе». В кабине я сидела с краю, прижатая к дверце. Никогда потом я не пыталась установить синхронность того, что случилось со мной, и гибелью Стасика. Эта связь для меня точна и ясна.

Отправились мы в обратный путь в восьмом часу утра, где-то через час с лишним машину очередной раз встряхнуло, и у меня буквально раскололась от боли голова. Вечером я очнулась в комнате, горит свет, надо мной склонившаяся хозяйка, вынимает у меня термометр, произносит: «Температура сорок». Я снова погружаюсь в темноту. И все время навязчивый сон: цветущий яблоневый сад на пологом горном склоне, и какие-то люди носят гроб с Марией Тимофеевной и все никак не могут похоронить. А мы с мамой не можем отыскать Стасика, чтобы всю эту маету прекратить. Через два дня ничего не болело, только внутри было тягостное чувство, что что-то не так, и почему-то совсем не могла заставить себя писать письма домой. Было стыдно, давала себе слово — сегодня, ну завтра, и — какой-то ступор.

⁴³ А. И. Лисс, второй муж.

Хозяйка где-то купила для нас два десятка петушков-подростков и выгородила загон, ее цыплята бегали двумя стайками по двору, опекаемые почему-то цесарками. Антон увлеченно кормил наших петухов и давил хозяйских цыплят. Лисс упрятывал трупики под дрова. Там их находили хозяева, огорчались и предлагали Тошке переместиться в сад и есть там малину. На что пятилетний Антон отвечал: «Я с детства не люблю малину». Рисовать Тошку пристроили в саду, где был стол со скамьей в непосредственном соседстве с кроличьими клетками. Тошечка незамедлительно устроил пожар. Потушили вовремя, кролики не пострадали, только сена у них поубавилось. Лиссу радушно предложили снять поспевшие яблоки. Тот неправильно понял и вместо выборочного сбора спелых яблок обтряс всю яблоню, побив и зрелые, и незрелые.

От всего этого разора мне ничего не оставалось делать, как терпеть хозяйскую девочку-подростка, которая неотвязно ходила рядом со мной с утра до ночи и даже в уборную сопровождала. Сидела рядом с будкой на корточках и трещала без умолку. Она втянула нас в местное развлечение — сплавляться на надутом баллоне, чем мы и занимались, регулярно ставя синяки и вывихивая ноги, сбиваемые течением. Антон увлеченно осваивал премудрости рыбной ловли, в основном на крючок ему попадался собственный нос. Нам часто встречался старик, ведущий под уздцы ослика, впряженного в маленькую арбу, груженую свежей травой. На двух полянках у него сушились стожки. Жестом приглашал Тошку проехаться, их короткие поездки проходили в полном молчании, слезая, Антон говорил: «Спасибо!», старик улыбался и гладил по голове ослика. Обедали на берегу, готовили на костре,

к вечеру возвращались домой. Один раз предприняли небольшой поход по какой-то неезженной грунтовой дороге и удачно — набрали на оплывший средневековый замок-кешк со следами археологических раскопов. Поковырялись сами и тут же нашли керамический черепок и обломок бронзового светильника.

Мы прожили уже две недели, когда нас, возвращающихся с базара, окликнул сотрудник из ТашЗНИИЭПа. Спросил, не собираемся ли мы домой и получаем ли из дома письма. И вопросы были странные, и выражение лица, и долгий взгляд. Мы поулыбались ему в ответ, пожелали хорошего отдыха, и ничего не дрогнуло у меня внутри. Единственная реакция — вечером написала письмо домой. Настойчиво спрашивала, отчего не пишет Стасик? Всегда письма писал он, мама иногда делала приписки, а здесь все письма маминой рукой.

Из Таласа мы уезжали, груженные медом и облепихой, к своим личным достижениям я относила то, что Антон ни разу не заболел, а у меня хватило терпения ежедневно разводить ему полоскание — мумиё и морскую соль. Единственный раз была опасность простуды — мы попали в сильную грозу, и домой пришли мокрые, босые и ледяные. Мне так жалко было, что три недели, прошедшие без ангин, пойдут насмарку, что я налила полстакана водки и дала выпить Антону. Долго объясняла, как надо дышать, держала наготове сок, молоко, тарелку с закуской и совершенно не представляла, чем это может кончиться. Ребенок выслушал, взял стакан, спокойно глотками выпил, отказался от закуски, лег, пожелал «спокойной ночи» и уснул. Я час сидела рядом, растирая ему ноги и спину шерстяной варежкой, ожидая всяких ужасов, но даже тахикардии не услышала. Лисс уверенно пообещал, что

«вырастет и сопьется». Утром ребенок был свеж и здоров, так что основная задача в Таласе была выполнена и мы так спокойно уезжали под приветливые пожелания доехать, не болеть и даже приезжать на следующий год.

Возвращение

В Ташкент мы приехали ранним утром. Тихонько, стараясь не шуметь, прошли на кухню. По заведенной традиции нас встречал стол с горой фруктов, пирогами, любимыми Тошкиными «попками» — творожным печеньем, в ванне плавал арбуз, на полу дыня-ракета. Мы дома! Единственное, что меня не насторожило, нет — просто отметились, что дома ненормально чисто. Такая чистота бывает, когда этим занимаешься безостановочно. Напробовались всяких разностей, напились чаю, начерно рассказали, нацеловались. Время идет, Стасику пора на работу, а из его комнаты — ни звука. Я уже не раз: «Стасик как? А папа? А почему он нам не писал?» И наконец, на мое: «Надо будить, папа на работу опоздает», мама очень тихо и спокойно: «Станислава больше нет».

Через полчаса отправили Тошку в постель, Лисса с таласскими гостинцами на Чиланзар. Я, корчась от стыда и муки, курила на балконе, начиная осознавать всю меру маминого самоотречения и ужаса прожитого ею месяца.

Потом отрывками, кусочками в течение многих дней мама рассказывала. Только мне одной, жизнь шла, и одни мы оставались нечасто и ненадолго.

Папа ушел на работу, миновал половину проспекта и стоял на платформе трамвайной остановки, очень близко к краю, на поребрике, так как трамвай в это время тронулся. Его сбила машина, буквально сняла и смяла.

Вина была на водителе, скрываться он не стал и сам отвез папу в больницу имени Семашко. На операционном столе Станислав скончался. Спустя часа три после происшедшего в дверь позвонила незнакомая женщина и неуверенно, запинаясь и плача, проговорила: «Мне кажется, что это Ваш муж попал под машину». Мы жили в доме недавно, нас еще плохо знали. Мама бросилась тут же по папиному маршруту и на половине пути уже точно знала, что это случилось именно с нами. Долго рассматривала асфальт, гравий между рельсами, пятна крови, нашла пуговицу и нижнюю челюсть. И конечно, как всегда в беде, не бросилась за помощью, не стала плакать, а заперла дверь и пошла искать. Нашла к вечеру. А на второй день пришли с работы — потеряли сотрудника. Маму отстранили, насколько смогли, и сделали все, что нужно. Нам сообщать она запретила: «Пусть отдохнут, впереди рабочий год, Антон часто болеет, не надо портить им отдых». Хоронила одна, прощалась без нас, поминки, девять дней, ночи в пустой квартире, перекресток, который не минешь, куда бы ни шел, ржавый гравий, машины смыли кровь только с асфальта. И я не писала, получать мои письма мама стала только в последние десять-двенадцать дней.

Шофер, сбивший папу, приходил к нам домой, просил пожалеть его детей, простить его. И мама, конечно, в суд пошла только для того, чтобы прекратить дело. «Человека не вернешь». Но уже при нас мама его выгнала, не выдержала. Для мужика дело кончилось всего лишь отстранением от вождения на два года, и он притопал с «благодарностью». Я услышала из всего, что мама говорила ему в прихожей: «...я не торгую смертью, ...не ходите, ...тяжело видеть, ...купите детям».

Внешне мама держалась стойко, но земля у нее под ногами поплыла. Я изо всех сил старалась быть рядом, до слияния — рядом. Потеря опоры, устойчивости стала проявляться даже внешне, физически — мама стала падать. Объяснения: «запнулась, не заметила выбоины» — меня не обманывали. А колесо только набирало обороты. Мы как будто потеряли защиту своего Дома, ясно, больно стало ощущаться — вещи родные, а квартира чужая, сам город стал удаляться, закрываться.

Поездка в горы на субботу и воскресенье большой компанией на реку Пскем в Седжак. Перед возвращением у меня жесточайший приступ аппендицита. Операция, осложнения, вместо положенных десяти дней — месяц в больнице. Мама, посещая меня, улыбалась, а в глазах не покой, а покорность. И это новое, — когда я болела, от нее исходила теплая сила преодоления. Потом корь у Антона, без паузы перешедшая в краснуху. Я еще заклеивала свой шов, когда ребенка ночью увезли на другой край города (только там почему-то принимали), а днем прооперировали — аппендицит. Больница почти сельская, грязь по колено, а если точно — жижа выше щиколотки в санузлах и выше головы в палатах. Сначала мимо нас провезли каталку из операционной в морг с умершим подростком, потом Антона в операционную. Мы вышли в сад и там, обняв яблоню, Лисс заплакал. Я многое потом прощала ему за эти слезы. Три дня мы скрывали от мамы истинное положение дел, но, когда она потребовала отвезти ее к внуку, пришлось все выложить начистоту. И вот тут мама сломалась. Именно с этого момента она стала уходить из жизни, силы ее кончились. Впереди у нее было еще пять лет жизни, но она их не прожила — вытерпела. Я первый раз за всю нашу жизнь видела, как мама плачет, взхлеб,

с рыданиями. Напрасны были наши уверения, что все позади, все прошло хорошо, что Тошка нормально себя чувствует — это были слезы обо всем. Обо всем, что позади и что впереди. И не было это слезами облегчения, нет, в ночь развился гипертонический криз, первый из длинного ряда. Надо было уезжать, неудобно стало везде. Письма, отправленные по всей России: два архитектора ищут работу с предоставлением жилой площади. В конце 1974 года пришел ответ из Рязани, и мы сразу дали согласие. В январе 1975 года Лисс уволился и формально был готов к отъезду, но морально — настолько нет, что это было похоже на панику.

Исход

Отправили в Рязань Лисса, то есть почти силком засунули в вагон, начались долгие месяцы всевозможных хлопот и работ. Выписка, документы, обмен квартир, упаковка, увольнение с работы и прощания, прощания. С друзьями, Ботаническим садом, могилами, городом. В памяти тавром — Алексей на борту грузовика упаковывает наш контейнер, почему-то для меня это в ряду — Алексей на открытом грузовике около очередного гроба.

В полупустой квартире, втроем, долечивая Антона, а заодно обучая его чтению и письму, принимая гостей, раздавая все, что можно, наткнулись на колоду карт. Ребенок просто враз научился в «дурака» и в «девятку» и стал азартным неутомимым игроком, а вскоре и картежным шулером. Остановить, отвлечь его было невозможно, «резались» порой до глубокой ночи. Утром мы с мамой еле ползали, и встать раньше девяти просто не могли. Антошка же ровно в семь прямиком из постели отправлялся рисовать. Изрисовав не меньше восьми — десяти листов,



Отъезд из Ташкента. Справа — А. И. Лисс. Май 1975 г.

шел к нам и объявлял: «Я наработался, пора завтракать».

Вот, связанная с картами, запомнившаяся ночь. Приближается полночь, начинаем уговаривать: «Гошенька, пора спать, эта партия последняя», а он как-то сомнамбулически: «Нельзя, рано, сейчас в дверь позвонят». И что-то такое в его голосе, поведении, что мы покоряемся и играем, партия за партией. Ближе к двум — звонок в дверь. Антон: «Идите, спросите, но не открывайте». За дверью мужской голос произносит что-то невразумительное. Антон вылезает из-за стола, включает во всех комнатах свет и требует закрыть балконные окна и дверь на шпингалеты. Мы уже немного напуганы, подчиняемся, во всем этом какая-то мистика. Молча продолжаем играть, порой проваливаясь в сон. Тошка бодр. Потом какой-то

шум, треск, бьется стекло на балконе, глухой удар чего-то или кого-то о землю. Ребенок как-то сразу обмяк, зевнул, лег щекой на стол и уснул. На руках глубоко спящего отнесла в постель. А весь следующий день отвечали на вопросы милиции — обворовали квартиру над нами, связав хозяев.

И вот мы уже уезжаем, 9 мая будем в Рязани — городе, которого я никогда не видела и в котором собираюсь жить. И только моей волей мы все едем туда, и вся ответственность на мне. Я ничего не чувствую. Сохранилась фотография — мы группой стоим у вагона. Провожают тетя Маруся, Настя (вместе с мамой была в детдоме и недавно обнаружилась), Лиссы, баба Ляля, Динка с десятимесячным Атабеком на руках. Все лица видны, улыбки вместе со слезами, все неумолчно говорят, одна я — носом в журнал, лица нет и каменно-бесчувственна. Спасительная реакция, иначе бы не уехать. У Лисса оставалась семья, он много раз потом приезжал в Ташкент, я уезжала насовсем. Что чувствовала мама? Она просто ехала за нами, Антон и я, два существа, которым нужна была ее помощь, забота, любовь. Для себя в этом отъезде она ничего не искала. Все, что было ее жизнью, или оставалось здесь, или перестало существовать.

Был еще один отъезд из Ташкента, не такой многолюдный. В купе нас было двое — Антон и я, и провожающих тоже двое. Март 1981 года. Первая годовщина смерти мамы. Поминки, устроенные в Ботаническом саду, — хоть какая-то реабилитация похорон в Рязани. Нас привез на вокзал Алексей с начинающимся гриппом, температурой, может быть, еще и от этого особенно родной, без панциря скепсиса. До слез расстрогавшая тетя Маруся, вручившая нам горячую курицу в половине

седьмого утра и баночку урюкового варенья (конечно, с косточками!). Больше никто не пришел. Я залезла на верхнюю полку, чтобы выплакаться наедине, и удивилась, что может быть такое. Из сердца тянулась нить, концом привязанная к оставшимся на перроне. Поезд шел, нить натягивалась все сильнее, больнее, почти непереносимо больно и... лопнула. Боль, темнота в глазах, долго потом бухало сердце, не находя ритма.

Я знала, что никогда больше не увижу родного мне города, красной от цветущих тюльпанов степи за окном. Холмов и гор Тянь-Шаня, его чистых и бурных рек. И оставшихся на перроне я тоже оставила навсегда. Это была моя главная, моя счастливая жизнь, и она кончилась. А внизу терпеливо ждал Антон, и я должна Быть, быть доверчивой и бесстрашной.

2003—2005 гг.

Декадник

1—10 (1943—1953)

Прощание с отцом.
Детские сады, от первого — фотографии, от второго — любовь на годы и первая собака.
Дружба и предательство.
Первые горы — кишлак Хумсан на реке Угам, два лета в Шунгаке на Чаткале.
Похвальные грамоты.
Черешня.
Первые печатные книги.
Папа оказался отчимом.
Инка.
«Маскарад».
Первая опера и балет.
Черное море — Хоста.
Сталин.

10—20 (1953—1963)

Совместное обучение.
Горный лагерь.
Путешествие по Кавказу.
Знакомство с родной бабушкой и смерть неродной.
Год дома.
Много книг и много писем.
Новая школа.
Закарпатье.
Первая любовь.

Путешествия с мамой.
Поступление в институт и стройка.
Предательства.
Жизнь в Ботаническом саду.
Отчим стал папой.
Операция.
Самарканд.

20—30 (1963—1973)

Муйнак.
Землетрясение, диплом, работа.
Замужество, развод, замужество.
Родился сын.
Аспирантура.
Болезни Антона, операция, ранняя зрелость —
поглощение.
ТашЗНИИЭП.
Горы.
Смерть дяди Саши.
Распад гнезда Усовых.
Путешествия — Средняя Азия, Алтай, Россия, При-
балтика, Черное море.
Начало исхода — отъезд с Учительской.

30—40 (1973—1983)

Гибель Стасика.
Аппендициты.
Переезд в Рязань.
Гражданпроект.
Лес.
Антон — школьник.
Смерть мамы.
Поездки к морю.

Предательство в доме.
Друзья.
Операция.
Увольнение.
Проезд Речников.
Эрзя.

40—50 (1983—1993)

Жизнь вдвоем.
Художественное училище.
Инвалидность.
Антон в академии.
Конкурсы.
Прибалтика и байдарочные походы.
Умерли Наташа, Вика, баба Катя.
Солотча.

50—60 (1993—2003)

Аспирантура Антона.
Операция и поход по порогам.
Греция и Крым.
Конкурсы.
Операция и лекции.
Ремонт свой и чужой.
Кася.
Умер Саша.
Германия.
Диссертация.
Вектор — Питер.
Пятигорск.

60— (2003—

Коктебель.

МЫ ДОЛЖНЫ

Включила телевизор, конец передачи о каком-то маленьком московском храме на Маросейке и двух его священниках, отце и сыне, праведнике и мученике. Звук записан плохо, большую часть ни услышать, ни понять. Сын был расстрелян, и отец-провидец знал о мученической смерти сына. Ну, и еще о нетленных мощах, об исцеленных... Я вспомнила, глядя на экран, где Авраам заносит нож над сыном, что, когда недавно тяжело болел Антон, я молилась о здоровье, милости, помощи и думала, что я не способна на Авраамову жертву. И вот здесь и начало происходить то, что заставило меня час спустя взяться за ручку и записать.

У меня так бывало не раз в жизни, даже как будто и не думаешь, не бьешься над темой, вопросом, задачей, а где-то лежит нерешенное, а точнее — вопрошенное. И вдруг какое-то движение, неясное, слабенькое, а весь внутри замираешь, потому что точно знаешь: это душа набрела на истину, и боишься спугнуть, и стараешься не вмешиваться, не торопить, так все зыбко, и если начать думать, то все ускользнет. Это должно само проявиться. Так было в юности часто, а в профессии — с проектами.

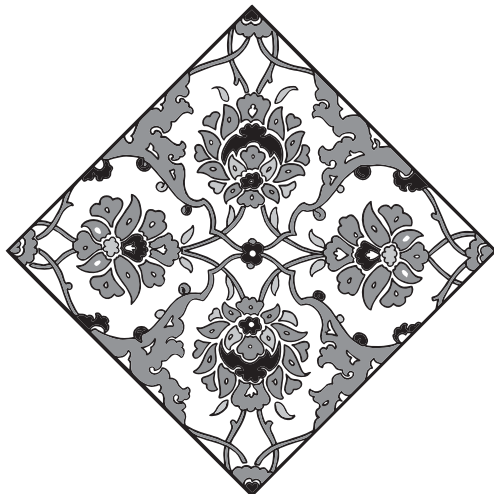
А здесь примерно так, если словами: «Мы должны за богоотступничество своих родных. Должны и страдать, и молиться, и ни за что, никогда, ни при каких обстоятельствах от Бога не отходить. Отсюда и фамилия дана нам не родовая — знаковая». Может быть, потому мне,

несмотря на все боли, так гармонично внутри, что наконец наступило разрешение или его начало?

И еще к этому же, как бы в дополнение, через паузу: «Не нужно бежать, не надо избегать, надо принимать, претерпевать и понимать, — почему и за что». А фоном трудно выразимое словами, но если очень огрубить, то — все станет светлее, только нужно не противиться, а быть благодарными и радоваться возможности исправить, сделать легким груз.

11 мая 2005 г.

ТЕКСТЫ



Степь

Великую казахскую (кипчакскую) степь видела только из окна поезда. Раз довелось пожить на ее краешке в украинском селе Успеновке, да еще на морском ее берегу, на Арале. А по ней самой — только в поезде «Ташкент — Москва». Степь начинается почти сразу, до станции Арысь еще оазис — непрерывность садов, домов, а потом больше суток за окном ее великая пустота. Пустота, наполненная монолитностью бытия.

Несется поезд или стоит на полустанках — кругом только выжженная желто-серая земля, блеклое небо, солнце. Пейзаж за окном притягивает, завораживает. Небо, Земля, Ветер! Никаких мелочей, подробностей. Этой замедленности космического ритма подчиняется даже суетящийся, говорливый вагон, все стихает, умолкает. На остановках в открытые двери тамбура влетают лоскуты ветра, сухого полынно-пыльного. Тишина. Только изредка металлический звук дрогнувшего вагона — и понимаешь, что голос в степи только у ветра.

Медленно трогается поезд, за окном остаются два-три саманных домика с черной тенью на сухой земле, запыленное деревце у колодца. Неподвижны фигуры казахов, неподвижны верблюды, в чьей тени сидят на корточках закутанные женщины, и только взмах руки с желтым флажком.

И снова степь — не голая, не обнаженная — нагая.

Разговоры в вагоне всегда одни: «И как они здесь

живут?» Да, это не степь с уютом станиц за спиной, — это Великая степь.

Какое доверие к самой жизни надо иметь, какую верность земле, чтобы жить вот так — не прячась! Недаром казахский ребенок к девяти годам должен знать своих предков до тринадцатого колена. В эту жизнь можно войти только через многократные двери рождения. Только вот так укоренившись, пустив глубокий корень, можно удержаться на земле, чтобы не сдуло тебя с ее голого бока.

Это не приволье, не раздолье, нет, — это пространство. Пространство, в котором бытует Время. И время здесь в знаменателе дает не линейную скорость, а кубическую.

И потому, верно, на этом просторе не оберегаемые голосовые связки породили феномен казахских певцов. Разлив голоса до горизонта, в котором и трель жаворонка, и клекот орла.

И Байконур тоже здесь недаром — путь в Космос из Космоса.

декабрь 2003 г.

Хлопок

Слышала все детство: «На хлопке, посылают на хлопок, приехала с хлопка, когда мы были на хлопке...»

Каждую осень собирали папу на хлопок — рюкзак, ватник. И возвращение с хлопка, всегда вечером, когда уже темные окна, топится печка — конец ноября, в лучшем случае, или декабрь. И он немножко чужой, не столько из-за долгого отсутствия, сколько из-за какой-то совсем непохожей жизни «на хлопке». Чтобы Стасик вернулся с хлопка, нужно, чтобы несколько дней шел снег.

Мама на хлопок ездила с Ботаническим садом, но ненадолго — ее спасал порок сердца.

Стасика перестали посылать после его шестидесятилетнего юбилея, на юбилейных торжествах обещали. Дома со смехом рассказал, а мама не выдержала, высказала, что копилось годы — и про национальную молодежь, умевшую отсидеться, и про болезни, и про ненужное терпение, и про абсурдность самого предприятия.

Осенью, в начале сентября, город пустел. Несколько дней шли по улицам колонны открытых грузовиков, автобусов, набитых людьми, — на хлопок! Весь город в транспарантах — дадим Родине миллионы тонн, цифра увеличивалась каждый год. Машины с людьми тоже были затянуты кумачом, играли оркестры, головные машины непременно с трубящими карнаями⁴⁵.

⁴⁵ Узбекский национальный духовой инструмент, атрибут праздников.

Чем выше становилась цифра обещанного сбора, тем более серым, массовым и унылым стал выезд на хлопок, все больше стал похож на мобилизацию, даже студенты перестали веселиться на сборах. Возвращение было постепенным, растянутым во времени, не парадным.

Институты закрыты все, многие учреждения тоже. Если ты осенью остался в городе, то радость, что избежал тяжелой участи, очень сомнительна. Не с кем пойти в кино, в гости, побродить по осенним паркам, некого ждать на вечерний огонек. И самое тяжелое — как бы ни были серьезны и честны причины, по которым ты не в общей лямке, все равно — чувство, что ты дезертир, есть. И особенно оно усиливается, когда все приезжают с хлопка. Как все рады! Как обнимаются на улицах! С каким удовольствием носят туфли на каблуках, аншлаг в театрах, кафе, аншлаг у всех дома. А ты как бы не очень смеешь разделить эту радость. Поэтому для меня было большим облегчением, когда я, вместо болезней, могла предъявить стройку. Наш стройфак вместо хлопка посылали на стройки (откуда строителей снимали на поля).

А мое первое знакомство с хлопком — это третий класс школы. В школьном зале на полу — гора коричнево-зеленых с белым ватным клювиком коробочек. Нас посадили возле, и мы стали расковыривать их, вытаскивая оттуда плотную влажную вату. Это курак — нераскрывшийся, не успевший созреть хлопок — самый низший сорт его. Гору мы дочистили, пальцы всем в медкабинете несколько дней мазали зеленкой, они были в кровавых заусенцах. Возмущались родители отличниц (я тоже ею была, но дома никто ничего против не имел), а я была — за, мне понравилось, я читала журнал «Пионер» и всю детскую литературу своего времени, а летом даже пыталась

влиться в движение по сбору колосков, только не нашла, куда их сдавать. И вообще, мы готовились к приему в пионеры, над постелью в самой красивой рамке, какую я только могла найти в доме, висел портрет Сталина в белом мундире с золотым шитьем, который я собственноручно вырезала из того же «Пионера». Родине я была готова отдать все свои силы и даже жизнь.

Эту мою готовность проверили в шестом классе. Мы выехали на хлопок не на день-два, а всерьез — на месяц. Нам было одиннадцать-двенадцать, редко кому тринадцать. Я радовалась этому как приключению. Но уже через семь дней я, таясь, написала домой, где в самых жалобных словах, какие только смогла наскрести в своем, до этого героическом, словаре, просила меня забрать домой. Письма из хлопковых колхозов шли как с фронта, треугольником, без марок и конвертов. Мое, к тому же, было написано карандашом. До дома оно дошло, я его много лет спустя нашла в ящике комода, прочитала со смешанным чувством стыда за свою слабость и обиды, что не выручили.

Наша детская норма была двенадцать килограммов. Нас поставили на «ошипки». Сверху свисают две-три дольки, целые коробочки у самой земли. Фартук на животе, двумя узлами на поясице, идешь носом к земле, груз растет, спина болит нестерпимо, на коленях ползти неудобно и медленно. Солнце палит и жарит, воды нет. Стали пить из арыка. Я, просвещенная бабушкой-педиатром, не пью. Когда кажется, что уже очень тяжелый фартук, идешь на хирман. Нагло-веселый молодой узбек взвешивает — на весах чуть меньше четырех килограммов, пишет «2», если очень попросить, запишет «3», я, конечно, не просила.

В комнате матрасы на полу, подушек нет, одеяла тонкие, стали спать по двое, теплее. Мне пары не нашлось, Инку баба Глора не пустила. Тяжелее всего для меня оказался именно быт, вернее, время вне грядки. Позже, читая воспоминания заключенных, прошедших концлагеря, я узнавала, вспоминала, понимала, что вызвало тогда мой вопль о спасении. Наша дружба мгновенно исчезла, каждый спасал себя, объединялся, но не за, а против. Вдвоем, втроем легче отбиться, отнять. Я не сумела, не успела вовремя понять, а поняв, не захотела *так* жить. На дежурстве надо было принести воду из канала, вернее, широкого и глубокого арыка с отвесными глинистыми берегами, заросшими камышом. Спустить туда ведро было довольно просто, а вытянуть без руки сверху сложно. Я не стала просить помощи, разувалась, лезла в воду и, стоя в воде, с трудом ставила ведро на край, потом забиралась в камыши и вылезала сама. Там же, в полной темноте нужно было отмыть котел после ужина. Когда же все сделано, оказывалось, что твоя кружка пуста, чаю тебе не хватило.

Разборки — кто как работал, начались наушничанья, поощряемые отменой дежурств. И здесь мне стали помогать мальчишки, стеречь миску с кашей. И вот тогда я стала окончательно изгоем. Я знаю, что если б это продолжилось дольше, то мое терпение и унижение вылились в бунт, драку. Но... вода из арыка сделала свое дело и через две недели за нами пришла машина.

Много-много лет спустя, в Ленинграде, в доме сестры вспоминали «хлопок» и Саша сказал, что это самое тяжелое, что ему приходилось делать. Наташа же рассказала, что, не видя никогда черники, уговорила сотрудника взять ее на сбор в лес. И удивила его, как споро

она собирала и как много набрала. «Это мой хлопковый опыт», — хвалилась Наташа. А радикулитчик Саша подумал и сделал научное сообщение, что сбор хлопка можно использовать как раннюю диагностику остеохондроза. Я думаю, он был прав. Мне никогда не было так тяжело на самых трудных строительных работах, — они все равно подразумевают разнообразные движения, а сейчас я уж вовсе точно знаю, что наклоняться надо с опорой на ногу, но не с грузом на поясище и руками на весу.

Лагерные ростки я еще раз ощутила на Муйнаке⁴⁶, когда нас, девчонок, было всего четверо, но даже и при такой малочисленности начали делить «пайку» на жирную и тощую, а известковая яма стала местом «опущенных». Но здесь я уже была опытным битым солагерником. И, отстояв свое автономное существование, жила намного интереснее «коллектива».

Как же полярно, резко отличаются отношения в походах, экспедициях, — какое идеальное коммунальное сосуществование. Какой полный покой, когда абсолютно, совершенно не нужны эгоистические навыки, делаешь все для других и знаешь, что всё делают для тебя. И не верится, что эти же люди, попадая в неволю, становятся другими. Может быть, это все-таки другие, а те в походы не ходят?

Когда в Турции автобус вез нас из аэропорта в отель, мы проезжали очень маленькие хлопковые поля. Гид с сочувствием сообщил, что норма сбора шесть килограммов, и это сделать очень трудно! У нас же взрослая дневная норма была тридцать — тридцать пять килограммов,

⁴⁶ Остров в Аральском море, где проходила практика студентов-архитекторов на строительстве школы.

норма сорок считалась предельной и была постоянной для мединститута. Чтобы не отчислили, «медики» добирали ее ночами с фонариками. Мой рекорд был уже в институте — двадцать четыре.

Конечно, были и на хлопке «стахановцы». Как все тогдашние рекорды, они были организованы, но тем не менее были. Кишлячные женщины-узбечки, — именно они шли на рекорд восемьдесят — девяносто — сто килограммов в день. Да, конечно, их ставили на лучшие поля, они обирали только верх куста, на хирман фартуки с хлопком носили не они. Но напряжение такого сбора сказывалось, больше двух сезонов не продержался никто. Однажды была даже цифра «120». Сборщиц, которые немислимо быстро и много могли собрать этих самых легких, пушистых килограмм, везли в Москву. Они стояли на мавзолее, их обнимали Сталин, Рашидов, Брежнев... Их мелькающие руки и счастливые лица были в каждом киножурнале.

А количество собранного хлопка все росло, обещанного — еще больше. И вот однажды республика не сдала то, что обещала, причем недобор был полтора миллиона тонн. Приехал серый кардинал Суслов, исчезла Насреддинова, решили снять Рашидова и привезли ему на замену узбека, выросшего в Москве, он почему-то во цвете лет на второй день приезда умер от инфаркта. Поля распахали до дувалов кишлячных домов, не стало садов, цены подскочили, на хлопок стали посылать даже дипломников из консерватории, над головами сборщиков стали летать самолеты и распылять дефолианты. Стали болеть дети, стали рождаться уроды, лысеть студенты, высох Арал, засолились почвы, Ташкент стал эпидемически страдать аллергическими болезнями.

«Пахта» — хлопок. Он был везде — на чайниках и пиалушках, в резном орнаменте фасадов и интерьеров, на этикетках самых вкусных шоколадных конфет, футбольная команда (трагически погибшая всем коллективом) носила единственно возможное имя — «Пахтакор». Демонстрации майские, ноябрьские — у каждого в колонне ветка с хлопковыми коробочками, человеческий поток как движущееся хлопковое поле...

Хлопок — цена республики и беда целого края.

Счастливая сторона жизни Короткометражки

С Вале́й Астаповой, приехавшей к нам погостить, отправились за кабачками на наш огородик. Само-захват, само-раскоп на берегу Трубежа. Сошли с дороги, прошли полосу кустарников и деревьев, перед нами — небольшой луг. Июль, полдень, солнце, тишина, безлюдье. И весь луг, сплошь, трепещет, колышется, кажется, даже шумит, бабочками. Их тысячи, они невысоко, не выше метра над землей, травой. Идем медленно и после первого «Ах!» уже ничего не говорим, только вертим головами и стоим на месте время от времени. Присели на корточки, оказались в сплошном море машущих крыльев, встали — все колышется, все сверкает, все белым-бело и нежный шум.

Никогда больше не видела такого.

С Морозами, Наташей и Игорем, ездили в Саранск, в музей, смотреть Эрзю.

А когда вышли — увидали одуванчики. Не одуванчики, а Одуванчики. Банально разбитый партерный цветник перед музеем. Только вместо цветов — одуванчики. Не просто вместо, не заместители, а одуванчики, доказавшие, что они цветы. Во-первых — много, просто сплошь, не оставившие пустот и просветов. Во-вторых — высота, цветок на уровне колен. Размер! Сорвала, положила на ладонь мордочкой вниз — закрыл ладонь. Такие бывают астры, одуванчиков таких не бывает. Зрелище — глаз не оторвать.

Языческий гимн язычнику мордвину.

С Волковыми осенняя поездка по грибы. От Болони свернули влево, по проселкам, с одной стороны пашня, с другой лес, мокрый. Тошие березки, осины, на буграх сосенки. Разбрелись. Олег раздул ноздри и развил скорость. Я отстала и ушла в сторонку, отдышаться от гонора и послушать тишину, стряхнуть с себя лихорадку добычи, хотелось вернуть себе любимое состояние, когда не ты берешь от леса, а он тебе дарит. Подарил! На всю жизнь подарок-видение. Лесная канава, очевидно заполненная водой совсем недавно, почти до краев. А по ее склонам и на дне — свинушки, молоденькие, нежно-бежевые, под тихой прозрачной водой цвета индийского чая, некрепко заваренного. И березовые желтые листочки сверху, а они утонувшие, подводные и их там много-много. Шла долго вдоль воды, потом свернула к полю, к солнцу, и на краю леса — сверкающий красной шапкой громадный подосиновик, а рядом три маленьких, крепких, прохладных, с замшевой шляпкой. А это уж подарок на прощанье, как водится.

Антон, Сергей и я плывем на байдарке по Цне. Начало плаванья — от Моршанска — река-огород. И справа и слева — делянки рыбаков. Помост, стул (а где — и кресло), избушка, огородик, в грядках бабий зад. На помосте мужик с удочкой, снасти по всему берегу, от рыбака до рыбака не больше ста метров. И так полдня.

И уже к вечеру, на закате, — крутой поворот реки, на мысу дикая яблонька, вся сплошь в краснобоких яблоках, мелких и ярких в закатном солнце. И крупная птица, золотистая щурка, яркости сказочной и неместной, сидит

и красуется. Мы ее всю оплыли, огибая мыс, разрешила рассмотреть себя со всех боков. Невиданной красоты и цветности. Все видение — из детских сказок: яблоня, яблоки, птица. Очень маленькое дерево, очень много яблок, большая птица (не улетает) и все невероятно, нереально ярко раскрашено.

С Андриевскими в сентябре, в Солотче, за селом Давыдово. Набродились за грибами. Привал на полянке, чай из термоса, сухо, тепло, часов одиннадцать. Лежим, кто на боку, кто на спине. Полянка небольшая, круглая, деревья вокруг стоят плотно. Молчим. И вдруг шум, сильный — прямо над нами журавли. Очень низко, очень близко. Взлетели где-то рядом, за деревьями. Мы видим их снизу — светлое, почти белое исподнее крыльев, длинные ноги, шеи вытянуты. Молча взлетели, только сильный резкий звук взмаха крыльев. Уже высоко и далеко раздалось характерное курлыканье. От наших голов до них было не больше пяти-шести метров.

Иконино. Дача Чураковых. Нас с Антоном пустили пожить на недельку. Яблочный год. Октябрь. Холодно. Утром все в инее. Гуляем по лесу, окрестным холмам и оврагам. Дикие яблони красы неписаной, яркие от яблок, а под ними красно-оранжевые круги осыпавшихся.

Овражек, в устье его накренившаяся яблоня, засыпавшая овраг яблоками доверху. С краю пристроился то ли суслик, то ли бурундучок. Сидит на задике, в передних лапках яблоко — кушает. А перед ним еще целый овражек, — надолго хватит.

Я возвращаюсь из Суханова в Москву после десятидневного семинара. Было много экскурсий, лекций, разговоров, а самое сильное впечатление — вот это, дорожное. За окном отгремела майская мощная гроза, электричка остановилась на переезде, почти рядом с окном мокрая железная крыша, и на ней — сирень пышным одеялом. Напитанная водой, лиловая, чуть вздрагивающая от только что утихшего ветра. Что-то случилось со мной, я не просто слилась с сиренью, я на мгновение стала ею, — нежно прижавшейся, распластавшейся на этой крыше, вся в теплом дожде, задохнувшаяся от аромата, сильная от бьющих в ветках соков, жаждущая еще ветра.

Потом долгие годы мне помогало это «переселение» в сирень. Когда силы оставляли, когда уныние не отпускало, сирень помогала.

окт. 2003 г.

Вот пишу: «Счастливая сторона жизни», получается — мгновения, картинки. Так ли это? Если б только мгновения, было бы это ощущение благодарности за жизнь?

Счастливой я была в детстве и сейчас в старости, вернее, так: старой я себя не чувствую, больной, немощной — да, старость — это уже усталость длить жизнь, пока этого нет. В детстве верилось в доброту мира, сейчас и потом, теперь в доброту и гармонию мира Божьего. И еще потому, что тогда и теперь — основное место пребывания — дом, столкновений с внешним миром мало. А посередине между началом и концом — трудно, больно. То, что стыдно и темно, писать не буду, это там, потом

держат ответ. То, что трагично, соберусь с силами и напишу. Несчастья, беды, трудности — это плодотворно, это живое, это энергия, события, поступки, квант. Это тоже, собственно, счастье.

А «короткометражек» было много, в полноте счастливыми они были, когда я еще не умела радоваться им в одиночку. Это как вкусное одной есть — вкусно, и только, а вместе вкусное — это уже праздник.

Мама очень часто: «это Галке показать надо... сводить, свозить, угостить, услышать...» И отдавала — я брала и была счастливой, чувствуя удвоенную радость и от поездки, театра, книги, цветов, и от маминой веселой щедрости дарения, совместности проживания, со-бытия.

Потом была счастлива с тем же Антоном, пытаюсь ему отдать, показать все, что люблю.

А может быть, все потому, что вся жизнь посредине — безответная любовь (это не только то, что называется «мужчины в ее жизни», нет, всё — города, друзья, профессия...).

А мама и Антон — это две Богом мне данные ответные любви. В этом мое двойное счастье и моя двойная боль.

Гиссарская экспедиция

Страна готовилась к войне и нужен был каучук. Каучука искусственного тогда еще не было, по крайней мере, в промышленном объеме. Тогда появилась плантация каучуконосов на Кок-Сагызе⁴⁷, но этого было недостаточно, и каучук ввозился в СССР из Южной Америки, что было дорого. Была поставлена задача — найти растения-каучуконосы и опереться на собственную отечественную базу, для чего и была организована экспедиция. Почти пять месяцев (25 апреля — 6 сентября 1941 года) мама провела в горах, на Гиссарском хребте и отрогах Памира Алаях. Вся экспедиция состояла из трех человек: мама, Титов — ботаник, очень пожилой уже человек, и к тому же глухой, и рабочий-узбек. С Титовым объяснялась жестами, с рабочим — на узбекском. И четыре лошади, три под седлами и одна выючная. Причем в седле раньше никогда не сидела, поэтому первый месяц почти не спала ночами от боли. Денег на экспедицию было выделено очень мало, спасались тем, что хорошо знали «подножный корм». Потом мама продемонстрировала мне, в наших походах, как можно выйти с тощим рюкзаком в горы, и почистить зубы, и найти мыло, и прокормиться, причем достаточно прилично.

⁴⁷ Место в Алма-Атинской области, в Нарынкольском районе, где было найдено одноименное растение-каучуконос.

Об экспедиции мама рассказывала с большим удовольствием, поскольку если интересы Стасика лежали в пределах пустыни, то мамина ботаника находилась в горах. Горы она любила и, несмотря на свое больное сердце, была там часто, много и с удовольствием. Трудность экспедиции заключалась в том, что Титов, кроме того, что был глух, отличался еще и упрямством. Около месяца мама уговаривала его не ехать первым по узкой горной тропе, поскольку он не смотрел, что делается у него за спиной, а кричать ему было бесполезно. Зачастую случались ситуации, когда нужно было остановиться, так однажды они потеряли вьючную лошадь. По одной из троп, которая когда-то осыпалась и была укреплена подобием плетня с камнями, прошла сначала лошадь Титова, потом мамина, потом шла вьючная, и замыкал экспедицию рабочий. Вьючная лошадь сорвалась с этого искусственного карниза, ее успели ухватить и держали довольно долго на руках мама и рабочий, пытаясь ее поднять. Во вьюках были продукты, соль, гербарные материалы. Если бы Титов оглянулся на крик, то втроем они смогли бы ее удержать, но — лошадь ушла вниз. Вместе с лошадью пропала мука. Потом, приезжая на стоянку и еще не развьючившись, Титов спрашивал: «Когда есть будем, Миля?» И после еды: «Скучно без хлеба». Рабочему, не понимавшему по-русски, слушать это было легче. Когда они остались на трех лошадях, одну выделили под вьюки и теперь двое ехали верхом, один должен был идти пешком. Титов, естественно, продолжал, как старик, ехать на лошади, а мама с рабочим менялись в своих положениях. В горах они встречали довольно много местного населения, которое относилось к ним доброжелательно, и только однажды была вынужденная,

не очень приятная дневка. В каком-то урочище они наткнулись на военный лагерь басмачей, которые, скрываясь от властей, жили там уже больше десяти лет. Они занимались охотой, иногда пробавляясь небольшими грабежами. Напряжение очень чувствовалось: басмачи понимали, что маленькая ботаническая экспедиция их определила, кто они и что они. И члены экспедиции понимали, что попали в положение не самое лучшее, поскольку этот бывший отряд, доживающий свою жизнь в горах, состоял из восемнадцати человек. А их было только трое, и к тому же среди них юная женщина. Ночь экспедиция переночевала благополучно, но утром, когда собирались уйти, басмачи без слов преградили им путь. В состоянии молчаливого ареста они провели весь день и только вечером рабочего-узбека отозвали в сторону, долго с ним говорили, потом всех отпустили. Но при этом было сказано, чтобы они молчали, иначе будет плохо. Рассказывала мама мне об этой экспедиции много раз, но впервые упомянула басмачей, когда стало понятно, что уже никого из этих басмачей, просто по возрасту, уже нет в живых.

Еще одна интересная встреча была с русской семьей, которая жила совершенно одиноко. Мама не поняла точно, что это за ответвление, они не были ни староверами, ни молоканами, может быть, духоборы, ушедшие от мира в горы. Молодая, довольно приятная женщина, ее муж и две девочки. У них было небольшое хозяйство — приятная долинка с маленьким водопадом, лугом со стогом сена, сараями. Поскольку к этому времени экспедиция была в горах месяца три, то мама уговорила Титова пожить там несколько дней, чтобы все постирать и перештопать, просушить гербарий и сделать многое



На Песочном перевале. 1950-е гг. На заднем плане М. И. Землянова

другое⁴⁸. Мама много разговаривала с этой милой женщиной, которая рассказала, что терпит все это и ушла за мужем, поскольку «вера велит». Но, по собственной воле, такого бы не предложила, и ей жалко своих детей, которые непонятно как здесь будут жить. Призналась маме в грехе: она убила ребенка в утробе своей, поняв, что не может пожелать своим детям такую будущность — полное одиночество среди гор в чужой стране. Это была территория Таджикистана или южного Узбекистана. Мама рассказывала об этом с сочувствием и удивлением, что так можно решить свою судьбу.

⁴⁸ Каждый, кто ходил по горам, знает, что такое сулит отдохновение не только ногам, но и отдыхаешь психологически, после постоянного контроля над собой на узких тропинках, находясь в мобилизации, чтобы не свалиться.

Лошадь под Титовым вывихнула себе ногу и стала хромать. Эту хромую, которую еще можно было вылечить, оставили русской семье. Очень кстати встретили киргизов, перегонявших скот, и дешево (денег было совсем мало) купили у них себе лошадку. Она была маленькая, мохнатая и необычайно выносливая. Еще киргизы поделились своими лепешками, сухими, дорожными. Тут же, не дожидаясь привала, экспедиционеры сели у речки и стали «вкусать». Было так вкусно есть этот хлеб, что его жалко было глотать. Поскольку лошадей все равно оставалось три, один путь приходилось (по крайней мере, маме) проделывать два раза: сначала переправлять Титова и грузы, потом развьючивать лошадь, возвращаться с нею, грузить и снова проходить тот же путь. Так что находилась она тогда по горам достаточно. Итог экспедиции был не то чтобы неутешительный, но очень определенный: растения-каучуконосы в горах есть, их очень немного, и само содержание каучука в растениях невелико, поскольку несравнимы каучуконос-дерево и каучуконос-куст или трава. Экспедиция вернулась с громадной картой, где были нанесены ареалы каучуконосов, что и вошло в отчет, а у мамы сохранились потрясающие впечатления об этом длинном путешествии, невероятных красотах этого края, горных реках, чистых водопадах и людях, которые там жили. Людей они встречали много и разных, очень много людей (в частности, эта русская семья) вообще не знали, что была какая-то революция, война. Они говорили, что время от времени мимо них часто проходили отряды вооруженных местных мужчин и они поняли, что происходят военные действия, но непосредственно их это не коснулось. Басмачи их не разорили, только несколько раз достаточно грубо требовали продовольствия для своего

отряда, и они оставались практически без еды, но полностью скот не уничтожали. Экспедиция встречалась с табунщиками, скотоводами, перегонявшими стада с одного джайляу⁴⁹ на другой, однажды столкнулись с небольшим кочевым племенем, которое говорило на непонятном для мамы языке. Может, это были пуштуны, афганские племена или еще кто-то, женщины были в очень ярких домотканых шерстяных одеждах и головных уборах.

По возвращении Титов даже письменно охарактеризовал маму как верного товарища, очень ее благодарил, жал ей руку и даже прослезился. Мама, действительно, часто и много его выручала, до такой степени, что Титов даже потерял свое упрямство и в последние экспедиционные месяцы он ехал в середине отряда.

⁴⁹ Высокогорное пастбище для летнего выпаса скота.

Кишмиш

Рите Захаровой

Утро было обычным, долгий привычный путь домой, под дождиком, сереньким небом, когда то ли душно, то ли зябко. Отсырело всё, даже душа. И мысли такие же, как дождевые ленивые пласты, слоились, не оформляясь ни в свет, ни в слезы.

«К двенадцати буду дома», — и единственным облегчением при этом, что дома уже никого не будет. Широкая серая лестница старой трехэтажки (но — потолки!), тяжелая дверь с вылезавшими кусками грязной ваты, темная прихожая, в которой делаешь первый настоящий вздох после удушения, спасающего от кошачьих миазмов.

Щелчок, свет, привычный поворот к зеркалу — серое лицо, волосы мокрыми прядями, потухшие глаза. И снова, автоматически, — улыбка (зубы-то, зубы — просто молодое богатство). Попытка осанки, проверка голоса — нижняя октава, вверх. Недовольно в унисон прохрипел вылезший заспанный кот. Да, лучше в ванну и под теплое одеяло, — формы явно никакой.

Раскрывая и ставя для просушки зонт, увидела корзинку с виноградом. Черный, без косточек, — кишмиш. Сбоку натекала лиловая лужица. Двумя руками подняла верхние грозди. Под ними лежали еще сухие, значит, — с ташкентского самолета. Успел намочнуть, пока несли от аэропорта до дома. Губами оторвала несколько ягод, раздавила во рту и — таким обожгло! Так вдруг всё в этом вернулось, вспомнилось всем телом — солнце, запах пыли,

сладость теплой грозди. Кожей вспомнила сухое надежное тепло и как вся дышишь — и ногами, и животом, и руками. Пятки на сухой горячей земле, волосы, пропахшие солнцем, уютность широких некрашеных досок террасы или перила, где, обвив ногами балясины с такой вот виноградной кистью, бездельно сидишь, счастлива от самой вот этой, текущей в солнце вокруг тебя медленной и живой жизни.

Замуж

Рассказ называется «Как Танька Урман замуж выходила». Жили они на улице Советской, напротив кинотеатра «30 лет ВЛКСМ». Квартира у них была такая: темная прихожая и одна комната, два окна выходили на Советскую, два окна на улицу Жуковского. Довольно аристократический район города, но вели они не аристократический образ жизни. Танькина мама была у нас преподавательница, Монакова, вела «Введение в архитектуру», вместе со Слонимом⁵⁰. Бабушка у Таньки была бывшим стоматологом на пенсии. Первый раз неправильное произношение «курей» я услышала от нее, поскольку она разводила кур. Танька отличалась в нашем классе тем, что была самая неряшливая. Неряшливость у нее была художественно-хаотическая — вся в кудрях, вся в перьях куриных, смешливая, с очень легким характером, так что не вызывала ощущение брезгливости, а вызывала смех. Кур держали в прихожей ради яиц, чтобы попасть в комнату, надо было пройти через этот курятник, за которым плохо ухаживали. Бабка обожала своих кур, у них были имена, их было немного, штук пять, был петух. Она их выводила гулять на веревочке, всех сразу, своркой, а петуха держала под мышкой. Во двор надо было заходить через ворота. Она выходила из парадной, а напротив —

⁵⁰ В Ташкентском политехническом институте, на строительном факультете (*прим. А.У.*).

кинотеатр, один из самых лучших и посещаемых, там — знакомая публика. Бабка очень бодро тащила эту свору кричащую во двор, там выгуливала, потом втаскивала внутрь. Она хвасталась, что у них каждый день по два или по три яйца получалось, — им хватало. Когда приходишь к ним в гости, в прихожей оставляешь обувь, когда выходишь, у тебя, как правило, внутри — жидкий помет.

У Таньки были кудри еврейские, густые, много, там всегда полно куриных перьев, вытаскивали всем классом. Чулки, которые на резиночках выше колен, почему-то у нее всегда — один серый, другой бежевый, один в рубчик, другой гладкий, один спущен, другой натянут. Танька хохотала, когда ей обращали на это внимание. Уже давно были у всех авторучки, Танька по-прежнему была в чернилах. Она имела способности к математике, Игорь Абрамович ее любил и все ей прощал, вообще она училась на «три с плюсом» — на «четыре с минусом». Она приносила всегда завтраки с собой, хотя в старших классах все этого стеснялись и никто на переменах не завтракал. Был буфет и рядом очень хороший гастроном, бывшая кондитерская Эйслера, там что-то покупалось вкусненькое, если были деньги. Танька ела очень много, а худая была, может быть, это болезнь, обратная диабету. Вместе с нами она покупала на ту же сумму батон хлеба. Она его съедала самостоятельно, потом выпрашивала у нас остатки стаканчиков от мороженого, остатки груш... Она голодная была постоянно, крокодил какой-то, а не ребенок.

В девятом-десятом классе у некоторых были романы, типа нашей красотки Шариевой, у Вараксиной были, еще у кого-то, Остроумова пыталась романы заводить, остальные были серьезные. И все считали, что Танька Урман у нас замуж если и выйдет, то лет через двадцать, потому

что она была таким незрелым баклажаном. В порядок ее родители стали приводить только перед выпускным вечером. Во-первых, ей купили туфли, — не на выпускной, а просто хорошие туфли на маленьком каблучке. Танька всем честно рассказала: туфли купили, чтобы тренировалась в них ходить. Она всегда шлепала, загребала ногами, у нее было плоскостопие, стоптаны задники, ходить она красиво не умела. Жутко маялась, но ходила, правда во время уроков ноги у нее отдыхали, она сидела на первой парте и вытягивала ноги под стол учителю. Когда ее вызывали, она ныряла под парту, искала туфли, обувалась, потом только шла к доске.

Потом мы нечаянно стали учиться в одной группе в институте, потому что единственная возможность блата была у Таньки там. Чертить она не умела, — при такой неряшливости. Чертежник у нас был отличный дядька, из Питера, бывший лекальщик с какого-то хорошего завода, с эвакуацией оказался в Ташкенте и там застрял. Черчение было немного странным, не совсем по школьной программе, а так, наверное, как он сам работал, короче говоря, нужно было очень хорошо чертить. Я не хвалюсь, это факт, чертила лучше всех я в школе, это — спасибо Стасику, который меня учил и у которого были прекрасные инструменты. Методически со мной занимался, приводя меня порой в истерику, — мне хотелось, чтобы сразу, и — шедевр. А Танька чертила хуже всех, но мама там работала, вела «введение в архитектуру», отмывку⁵¹,

⁵¹ Отмывка — трудоемкая техника подачи архитектурных проектов, состоит в последовательном многократном покрытии очень слабым раствором туши чертежа, с целью получить эффект объема и пространства. Чаще используется черная тушь, иногда дополняется цветной акварелью либо используется только акварель (*прим. А.У.*).

архитектурную акварель на первом курсе. Мама — высокая, сухая, кудрявая, при этом почему-то с очень большим и толстым животом, — странная была фигура. Она за собой следила, каждое лето ездила в Гагры, в Дом творчества архитекторов, была смешливая, общительная, любили ее студенты. Но она тоже была, что называется, чуть-чуть халда, хотя все чертежи, которые она нам показывала, были без пятен, отмывала она просто изумительно, в ее технике был автоматизм (она отмывала, наверное, лет тридцать).

Когда Вараксина позвала меня поступать на архитектурный, я стала ходить на предварительные уроки рисунка перед экзаменами. Я там обнаружила Таньку, так три одноклассницы оказались вместе. На первом курсе про кур уже никто не говорил, Танькины перья превратились в малярную замазку, — мы работали на стройке и приходили такие замызганные, а отмываться было решительно некогда. На первом курсе мы проучились, а на втором Таньку решили выдать замуж. О том, что Танька — еврейка, и мама ее — еврейка, никто как-то не говорил, и они сами не педалировали этот вопрос совершенно. Это образовалось после того, как Танька поехала то ли в Москву, то ли в Питер знакомиться к своему папе, фамилию которого и носила. Именно после этого возникла знакомая еврейская семья в Ташкенте и идея их поженить. Чем жених по фамилии Валовой был привлекателен, понятно — у них был двухэтажный собственный дом, они из очень богатых евреев, у них Рембрандт собственный висел на лестничной площадке при подъеме на второй этаж, фарфор мейсенский. Сколько в Ташкенте было очень богатых еврейских семей — не больше дюжины, вот они были из этой дюжины,

и все они — потомственные медики, решительно. Почему семейству Валовых надо было породниться с Танькой — непонятно, может быть, ее папа какую-то роль сыграл. Но встал вопрос, что Таньке нужно замуж выходить, и здесь началась сплошная подготовка. Всему Ташкенту был объявлен сигнал боевой готовности, все стали искать лучших портних, это быстро нашли, начали шить сарафан, причем достаточно сексуальный. Надо сказать, что сложена она была обыкновенно — довольно высокая, ровненькая, довольно худенькая, у нее был просто очень большой бюст. Этот бюст облекли в какой-то необыкновенный лифчик, сверху надели сарафан с глубоким вырезом, чтобы была создана ложбинка и все остальное. У Таньки не получалось носить лифчик, чтобы бретельки не торчали из-под бретелек сарафана, я ей объясняла, какие там нужно делать приспособления, чтобы все наружу не вываливалось. Потом купили стельки и начали Таньку лечить от плоскостопия. Когда ее повели к ортопеду, выяснили, что у нее еще и бородавки на ногах. Стали выводить бородавки, в результате Танька месяц не ходила в институт: выводили жидким азотом, сплошные волдыри. Когда кожа зажила, бородавки на этом месте выросли снова. Был снова объявлен сигнал тревоги: нужна бабка, которая бы эти бородавки заговорила, — нашли бабку. Заговоренные бородавки вылезли на руках, — начали лечить руки, Таньку стали водить к маникюрщице, — руки у нее были запущенные. Ей строго-настрого было запрещено грызть ногти, и она стала ходить с наманикюренными пальчиками. Она стала не то что стирать, она стала гладить себе платья, — это было нечто. Потом ее подстригли, это было очень трудно: волосы оказались такие кудрявые, что нашли парикмахершу, которая сначала выстригла

волосы внутри, проредила, а потом, что осталось, причесала каким-то образом. Исправляли прикус, она ходила с какой-то металлической штукой, ей ставили пломбы. Она даже уши дома прищепками прижимала к волосам: ей казалось, что они немного торчат, правда, уши не исправились. Брови рейсфедером выщипывала, в общем, старалась. Первый дезодорант, который я увидела, был в руках у Таньки. После этого Танька ходила ко мне и спрашивала: «Как целоваться взапас?» Я сказала, что если от природы не дано, то не научишь. «И как ты представляешь эту практику, — я это с тобой буду делать, что ли?» Так от меня она ничего и не узнала.

От этих трудов Танька совсем не устала, она была в экстазе, — она видела изменения. Оказалось, что у нее плечи — почти Элен Безухова, какой-то бюст, и потом, она выходила замуж самая первая из нас, вылезла в авангардистки. Ей нравилось, какая она стала, она писала акварелью, и ее при этом фотографировали, — нужны были доказательства ее творческих потенций, в ту семью. Приходил специальный, настоящий фотограф, чтобы было профессионально снято, софит ставился, причем на настоящих, наших уроках рисунка. Мы удивлялись такой подготовке замуж и решили, что это мещанство, нам это не понравилось, но было смешно. Таньке с кавалером иногда покупали билеты в филармонию, куда они ходили не одни, а в сопровождении сестры жениха и его тетки. Или они ходили с Танькиной мамой и маминой подругой.

Да, самое главное — бабке запретили держать кур, если она хочет счастья внучке. Бабка очень похудела, сидела на крыльце и все время говорила: как же я без своих курей? И плакала, и всех, кто шел мимо, цепляла за руки и рассказывала о своем несчастье. В конце концов бабку

временно выселили то ли к родственникам, то ли знакомым, потому что стали делать ремонт. Уже пора было гостей принимать. Нужен был ремонт. Караш, наш преподаватель, начертил интерьер квартиры, расколеровку сделал, развертки стен с мебелью. Это был первый проект интерьера в моей жизни, виденный для частной квартиры. Сделали ремонт, и все ходили смотреть. Новый диван купили, офорты на стены повесили, а самое главное — повесили картину, которую Таня сама нарисовала.

Когда материальная часть была приведена в порядок, Таньку начали подавать интеллектуально и творчески. Мама у нее всегда играла на фортепиано и пела романсы, маленьким голоском, но очень чистенько. А тут положение квартиры обязывало: окна выходят и на Жуковского, и на Советскую, — сидит Танина мама, ноты, занавески раздернуты, свет горит, первый этаж, палисадничек небольшой, кусты стриженные. Не только слышно, но и все видно. Стоит Таня, опершись на рояль, с пышной грудью — если в одно окно не видно, то в другое определенно видно, и поет романсы. Мама первым голосом, Таня вторым. Никого нет, они поют просто так, ради чистого искусства. Ташкент — город небольшой, обнаружить их мог кто угодно.

У нас обнаженной натурой сидела очень старая старуха. Настолько старая, что она сидела обнаженная до пупа, нижнюю часть ей оголять не стали. Рисовать ее было очень удобно — костяк почти наружу, знания анатомии особенного и не требовалось. И у Таньки получился хороший рисунок. Правда, часто подсаживались помогать преподаватели, Данников или Смирнов. И эту старуху, как успех, — там было написано: фонд, пятерка, — прилепили

на мольберт. Два мольберта стояло в квартире — ребенок все время еще и дома творил, достижения на них менялись. Рисунок был приклеен к тому времени, когда должен был прийти жених в гости. И он пришел, все дома. Бабушка присутствовала, ей вставили зубы у стоматолога, одели и подстригли. Жених подошел к рисунку натурщицы и сказал: «Это ваша бабушка?» Бабушке стало плохо. Жених-медик понял, что попал впросак. После этого домой перестали носить обнаженную натуру, только акварели.

Потом наступил день свадьбы, мы были приглашены, все шесть девчонок из группы. Нам показали двухэтажный особняк, показали комнату, где до потолка лежали подарки — как сейчас в американских фильмах. Отдельно, совершенно отдельно лежала перина, свернутая рулончиком и завязанная голубым бантиком. На перине лежала куча — рিশелье, расшитые кружева, настоящие, везде монограммы. Это был подарок теток, которые трудились над этим полгода. Показали этого Рембрандта — очень маленький, сантиметров двадцать на двадцать пять, масло, какой-то портрет, в зрелых годах мужчина в берете.

Потом Таня — с вылеченным плоскостопием, умеющая ходить на каблуках, с пломбами в зубах, с хорошо сшитыми платьями, с выведенными бородавками — превратилась в жену. На дипломе она была беременная. Начало июля, жарко, она ходила в прозрачных платьях, а так как стирать ей было некогда, она ходила в трусах своего мужа. То, что это были мужские трусы, было очень видно. Мало того, что был беременный живот, громадный, это были черные сатиновые трусы, иногда цветные. Но ей прощали как беременной. Диплом ей делался всем факультетом. Как она защищала диплом — отдельная

песня. «Где у вас в проекте вывод канализации?» — спросили ее. «А у меня только ввод!»

Потом им купили двухкомнатную квартиру, девчонки пошли поздравлять ее с ребенком. Девчонки вернулись и говорят: «Ну и чего, — Танька как Танька, все нормально, на том же уровне». Мы пришли, ребенок орет, пеленки сушатся, использованные в ванне пухнут. Танька девчонок решила покормить, но, кроме яичницы, она ничего не умела делать. Из сковородки сначала был вынут капроновый чулок, потом расческа с ее кудрями, потом сковородка была протерта тем же чулком, он выброшен в помойное ведро, и была пожарена яичница. Девочки сказали, что сыты.

Архитектором она тоже была, естественно, никаким. На работе ее спасало только то, что у нее в любовниках ходил главный инженер Ташгипрогора, их отношения почему-то афишировались. Если Тане давали альбом чертежей размножить или отнести какие-то материалы в архив, то по дороге она их обязательно потеряет, и всем «гипрогором» их нужно искать. В результате, когда начались эти ташкентские катавасии, вся еврейская семья уехала в Америку и отвезла туда Таньку, естественно. Не бросать же Таню, которая не умела быть ни хозяйкой, ни женой, ни матерью. Таня прихватила маму Монакову, а мама — почти весь архив архитектурный, а там были такие обмеры роскошные. По этим фундам можно такие альбомы издавать и так хорошо зарабатывать. Отдельные сведения мы оттуда получали: у мамы была сделана операция на сердце, очень удачно прошла, Тане в Америке нравится, муж ее сумел подтвердить свое медицинское образование, процветает, занимается исследованиями в области вирусов.

Как-то, лет через пять после ее замужества, я встретила Таньку, она неслась с сияющими глазами, в роскошном красном пальто, распатлатая вся. И: «Ты как живешь?» И, не успев услышать, она очень откровенно мне говорит: «А я живу прекрасно. И у меня есть рецепт для всех женщин, для тебя тоже — хочешь жить счастливо — заводи любовника, и лучше — двух. У меня сейчас два любовника, одному я вру одно, другому другое, мужу третье, потом запутываюсь во вранье. Меня все обличают, а я хохочу, потому что знаю, — исчезнет один любовник, я заведу еще одного. Жизнь прекрасна, когда вот так вот, и самое главное — ты не чувствуешь никакой ответственности». Я говорю: «А дети?» — «Дети? Их мне надо накормить, и они вырастут». И убежала на трамвай, потому что спешила к очередному любовнику.

2005 г.

Рига. Музыка

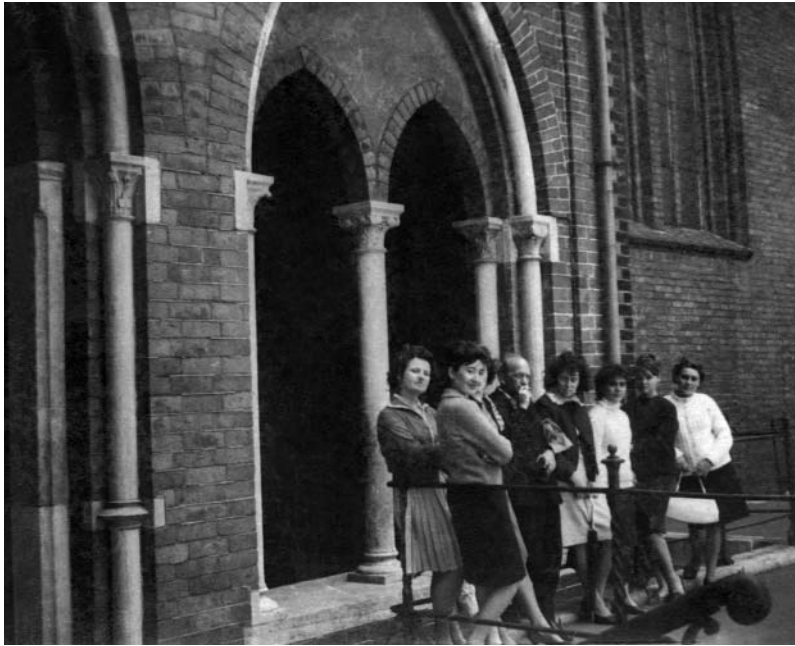
Рига, 1965 год, летняя практика. Глупейшая и на тогдашний, и на теперешний мой взгляд. Мы перешли на пятый, предпоследний курс, руководитель — В. А. Нильсен, историк архитектуры, вокруг — единственная доступная тогда Европа, а практика — мальчики на штукатурке, девочки на малярных работах. Я была свободней остальных, работала помощником мастера, за это не платили зарплату, как малярам, но мой выбор был определен здоровьем.

От нашей единственной экскурсии с Нильсеном остались две невнятные групповые фотографии на Домской площади.

Рига для меня и в физическом, и в моральном смысле была тяжела, порой непереносима, но были два счастливых события, которые я храню среди своих драгоценностей. Остальное я тоже помню, но не вспоминаю.

Все сорок дней нашей балтийской жизни шел дождь, так что никаких купаний, пляжей, дюн, только дождь. То утихающий, то усиливающийся, расплзающаяся обувь, плохо спасающий от ветра зонт.

Потому особенно уютны были кофейни, музеи, маленькие выставочные залы, особенно мне тогда полюбившиеся художественные магазины-салоны. У меня были поручения вне стройки, я полюбила бывать в городе одна. Вся его атмосфера диктовала неспешность, негромкость, отстраненную вежливость. Мне это было близко,



В Риге с В. А. Нильсеном. 1965 г.

когда я была со своими, страдала от гомона, нашей несоразмерности даже тротуару, а главное — наглой напористости, агрессивности, абсолютной неделикатности вхождения в среду, а значит — и отсутствия с ней диалога. Мне первый раз не нужна была компания. Но «художественное обеспечение» было на мне. И вот куплены билеты в Домский собор на моцартовский «Реквием».

Дома я заиграла пластинки «Реквиема» так, что пришлось покупать новый комплект, раздобыла даже перевод с латыни. Но то, что было в Домском, — из событий, ради которых стоит являться на свет или, снижая пафос, вытерпеть всю остальную «Ригу».

Музыка, пение-молитва в своем Доме, музыка взмывающая, уходящая вверх в своды, молитвы, которым вторят стены, витражи... Звук затихал и тонально продлевался в нервюрах, окутывал, лишал плоти, освобождал и возносил душу.

И точно Моцартом рассчитанный размер вещи, к концу уже было невозможно вынести, вместить... И на этом пределе, когда с земным, кажется, оборвется последняя связующая нить, — завершающий вздох-аккорд.

Тишина внизу полная, очень долгая, потом зашевелились, закашляли, потом хлопки и овация...

На первые одиночные аплодисменты над балконом появились Свешников и органист, поклон был невозможен даже технически, и они подняли руки в приветствии, внизу ответно взметнулись руки и аплодисменты над головами. Овация превратилась в евхаристию.

На улице меня ждали, там я узнала, что от последнего звука до аплодисментов прошло двадцать минут.

Второе чудесное событие тоже музыкальное.

Таня Першина⁵² завлекла нас в Юрмалу субботним вечером, с жаром убеждая, что нам просто необходимо посетить ресторан, который сохранился в полной неизменности с каких-то древних, по крайней мере, дореволюционных времен. Действительно, у входа пожилые пары, разодетые как сутенеры на пенсии, ждали счастья просочиться внутрь. Танька строила такие глазки мужику в ливрее, так демонстрировала свои шестьдесят четыре зуба, что мы были пропущены, не успев толком промокнуть. Ресторан был старым (старинный — это все-таки уровень), чванным, надутым и, вообще, похож

⁵² Однокурсница.

по безвкусице на переориентировавшийся бордель. Даже Першина, станцевав два соло и попытавшись обзавестись партнерами (младше шестидесяти там просто не было), утасла, и мы пошли к морю.

Почти на берегу концертный зал — тогдашняя архитектурная новинка — на стальных стойках крыша из ячеистых элементов, создающая великолепную акустику, стен нет, ограждение в рост человека, кресла и раковина сцены. Программа — Моцарт, Мендельсон, не помню, что еще, но исполнители! — Давид Ойстрах, Игорь Ойстрах и Коганы, папа с сыном. И в третьей части сопрано Хайне Мария Вагнере. Ну, здесь уже я всех с энтузиазмом запихала под крышу (всех было трое).

Все началось с «Маленькой ночной серенады», что было сущим удовольствием. Ночь спускается, сосны шумят, морской ветер беспрепятственно гуляет по залу, дождь шелестит, волны в ритме вальса — раз-два-три, раз-два-три, две короткие, третья долгая.

И такое органическое слияние музыки с природой, и такая уютная, почти условная изоляция. Свет, музыка, а вместо стен — ночь, дождь, сосны. Народу немного, но и не оскорбительно пусто, принимают и понимают прекрасно, все бисируют, особенно щедр Давид Ойстрах. Наслаждение полное. Напоследок — певица из Германии с таким двойным именем и фамилией, что грех плохо петь и трудно забыть. Маленькое сопрано, но школа блестящая, культура, дикция и сама хороша простой изысканностью манер.

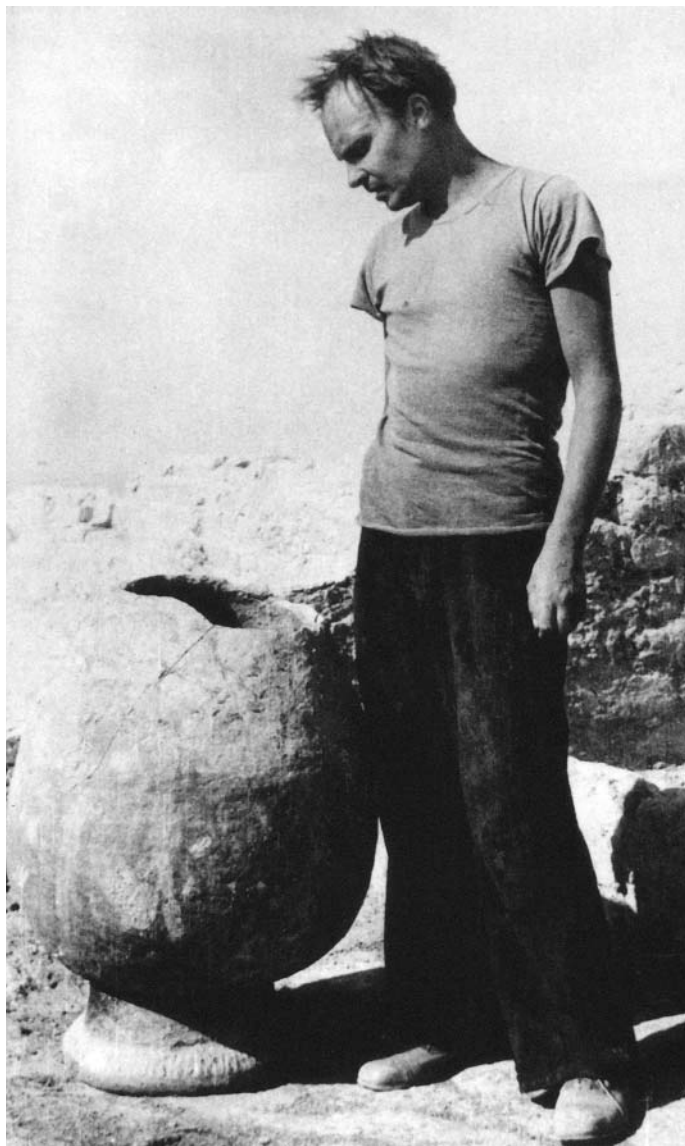
И чем дальше отступает во времени этот вечер в Юрмале, тем все более волшебным, нереальным кажется этот однажды во всю жизнь слышанный симфонизм скрипок, оркестра, дождя, леса, голоса, моря.

ноябрь 2003 г.

Савицкий

В 1964 году, глубокой осенью, в городе Нукусе готовилась грандиозная выставка достижений народного хозяйства, Каракалпакия отчитывалась перед страной. Город был пуст, фантастически пуст: все студенты были на рисовых и хлопковых полях, все работающее население было там же. Пусты были магазины, так, как будто санитарный день объявили на всю оставшуюся жизнь, но продавцы за прилавками стояли, чистота невероятная, на всех белые халаты. И не было ни одной крупинки продуктов, которые продавались. Их не продавали, их раздавали по карточкам. Нам, как студентам, работавшим на выставке в качестве подмастерьев, полагались карточки по усиленному режиму. На эти карточки в качестве продуктов выдавались пирожки. По три штуки на нос. Пирожки были с повидлом. Еще по карточкам давали десять пачек «Беломорканала», килограмм риса, килограмм муки и стакан постного масла. На неделю. Больше не выдавали ничего, а купить было негде. Нас спасали бакинские художники, которые приехали в Нукус делать эту выставку. А нас сняли с острова Муйнак, где мы как бы достроили школу. Достроить эту школу было нельзя и невозможно, последний ребенок на острове умер при нас.

Художники приехали зарабатывать деньги, их бакинские родственники каждую неделю присылали посылки, благодаря чему мы остались живы. В каждой посылке было, кроме еды, по литру коньяка. У нас не было ни



И. В. Савицкий в Каракалпакии. 1960-е гг.

воскресений, ни выходных дней, начинали мы работать утром, заканчивали поздно ночью, а выходные были тогда, когда об этом объявляли сами художники, когда у них накапливалось много коньяка. Кто-то из этих художников знал про Савицкого⁵³. И вот как-то раз...

Меня потряс сам Савицкий и то, как он жил. Это был худой, загорелый, очень русский и в то же время азиатско-русский человек, которого интересовала только Азия, а в истории России — только период, который он хранил, над которым дрожал, который спасал, любил, ценил, гордился, хвалился и просто трясся над каждым полотном и куском полотна, который у него был. И даже я тогда, совсем мало понимая в авангарде и во всех этих художественных течениях, понимала, что у Савицкого если не все — шедевры, то шедевров много. И хранить их опасно. Суть преамбулы про еду состоит в том, что Савицкому по карточкам вообще ничего не выдавалось, да и зарплата у него тогда вряд ли была. Возникло ощущение, что едой он вообще не интересовался, кормили его, вероятно, сподвижники и друзья, поэтому он и не умирал от голода. Ему принесли в подарок чай, который был в полотняном мешке, не меньше килограмма. Он страшно этому обрадовался. У него была большая кружка, электрическая плитка и металлический чайник. Кружка, наверное, была чуть меньше литра, и он насыпал туда три-четыре столовых ложки чая, наливал кипяток. Второй раз уже не заваривал, несмотря на острейший дефицит. Кружка, судя по черному цвету и особой фактуре, никогда не мылась. Была холодная

⁵³ Игорь Витальевич Савицкий (1915–1984) — художник, реставратор, этнограф, искусствовед, заслуженный деятель искусств Узбекистана, народный художник Каракалпакстана, создатель Государственного музея искусств Каракалпакстана в Нукусе.

осень, и Савицкий, разговаривая с нами, характерным жестом грел руки, потирая их о свою кружку, лаская ее. На этом чае, на бешеной заварке, он, по-моему, и жил. Говорил он очень емко и очень «штрих-пунктирно», то есть, начиная говорить, говорил много, без умолку, а потом замолкал и надолго. И вытрясти что-то было ужасно трудно. Если какой-то вопрос его интересовал, он включался, рассказывал с необычайной энергией, холсты переставлялись, сыпались имена. А меня очень заинтересовала комната, где была навалена, правда, очень аккуратно навалена, керамика. Керамика была изумительная, страшно много, вся в бирочках, невероятно архаичная. Даже та, что была сделана сорок или десять лет назад, хранила в себе преемственность, старые каноны. Самая поразительная была старая керамика из раскопов, было видно, что это такая редкость, такая настоящая археология. Это хранилось, но не охранялось, охранять было некому.

И еще там было две женщины, одна явно местная, каракалпачка, но это был ученый, а не просто тетка, которая мыла полы, и ее тоже трясло от любви к тому, что мы смогли увидеть. Вторая женщина, высокая, очень худая, еле двигалась, но при этом представляла собой кладезь знаний. Самые разные люди, которые пришли к Савицкому, — от тончайших интеллигентов до тех, кто просто приехал сорвать денег на этой выставке, — все они объединились одним настроением, даже стали какие-то одинаковые. Они выглядели как пригоршня пионеров, которых привели в мавзолей Ленина. А второй раз мы туда попали гораздо меньшей компанией, когда Савицкий повел нас к себе домой. Этот дом то ли примыкал к музею, то ли был где-то рядом. И через коридорчик, через тайные замки и ходы он повел нас в свою так называемую «святая

святых». Там стояло всего три кувшина, громадных. Они были интересны тем, что у них было по четыре ручки, и каждая ручка заканчивалась головой какого-то мифического существа. Все четыре головы имели разное выражение: гнева, ужаса, в общем, пугающие. Формой ручки были как плетеные косы, из-под которых торчала одна когтистая лапа, а сверху пугающие головы. Два из них имели повреждения, но они были расколоты на очень крупные куски, без мелких потерь и трещин. Они были не лощенные, не крашенные, керамика в чистом виде.

После того, как он нам это показал, мы попали в комнату, где он жил. Мы были поражены его худобой, и мы принесли Савицкому еду — плов. Он съел две ложки этого плова, потерял к нему всякий интерес, снова обнял свою кружку с чаем и пошел нам показывать дальше. Когда он показывал кувшины, чай он понемногу прихлебывал, а тут оставил кружку у порога, тщательно вымыл руки, вытер и после этого раскрыл крафт-бумагу и вытащил оттуда два холста. Я не запомнила фамилии художника, на обоих холстах были мальчики-усто⁵⁴. Почему он их так ценил, не знаю, но, показывая их, Савицкий подпрыгивал, светился и умолял нас никому об этом не говорить. Когда выяснилось, что один из нас что-то слышал об этом художнике, Савицкий был так счастлив, просто в восторге: «Вот, вы тоже знаете, знаете!» И так же его обрадовало, что знают фамилию Лысенко, и потом кто-то из бакинцев любил Кузнецова, Древина, Удальцову.

март 2006 г.

⁵⁴ Александр Васильевич Николаев (Усто-Мумин) (1897–1957) — живописец, с 1920 г. жил в Туркестане.

Кызыл-Тепе⁵⁵

Две реки, зеленая и синяя, полные вод и рыб, соединяли судьбы свои в море. И было море в лунные ночи зеленым, а под солнцем сияло синью.

У моря и по берегам синей и зеленой рек жили народы и не знали нужды. А между рек лежала пустыня, здесь не было дождей, и вода в колодцах была горька.

И пришел народ, и не нашел себе места, и поселился в пустыне. Три года терпели люди зной, жажду, сухие бури и молились. В августе, когда начался звездный дождь, пришел жрец к царю умиравшего народа и сказал: «Нужна жертва. И Бог, который живет в нашей пустыни, простит нас».

Две дочери были у царя. Младшую, красивую и кроткую, отвели под песни и бубны далеко от шатров и оставили в развалинах старого храма.

Под первые песни зимних ветров старшая сестра и два старых воина отправились совершить погребение останков царевны.

Не посмели воины войти в башню Бога, не посмели кликнуть его невесту.

Сестра ненавидела того, кто отнял у нее самое любимое — сестру младшую, никогда не ведавшую матери.

Не могла она смирить своего сердца. И хотя с того самого дня, как была принесена жертва, на краю их

⁵⁵ Поселение ахеменидского времени (VII–IV вв. до н. э.) в Сурхандарьинской области, раскопки которого производила Г. А. Пугаченкова. Успенская участвовала в этой археологической экспедиции (прим. А. У.).

становища забил родник с чистой и сладкой водой, утих жгучий ветер, стали тучнеть стада и перестали умирать дети, не могла старшая простить Богу такой разлуки и такой цены.

В башне было пусто. Сколько ни искала, не нашла сухих косточек, и только сердоликовая бусина от храмовых сандалий сверкала в трещине кладки.

И когда, не чая уже иметь хотя бы дорогую могилу, собралась уходить, ее окликнули.

Черная от солнца, в рваных одеждах, босая, пред ней стояла ее милая сестра.

Старшая не узнавала младшую. Она стала сильнее, еще красивее и даже выше. А самое главное — счастье, которым она вся лучилась.

Ей не было, почти раздетой, холодно, она принесла сестре в ладонях воды — пей, мелких черных ягод — поешь. И при этом расхваливала красоту чаши и вкус вина, прелесть изысканных фруктов, показывала развалины и приглашала разделить восхищение дворцом.

— Игра? Сумасшествие! А Бог, это чудовище!

— Нет, нет, он прекрасен, он лучший из всех!

— Все ложь! Ты сошла с ума! Во что ты играешь?

— Значит, ты и вправду ничего не видишь?

— Ничего нет, приди в себя, тебя надо спасти!

И старикам воинам нашлась работа — вернули младшую отцу.

Боясь гнева и спасая сестру, старшая уговорила отца покинуть пустыню. И ушел народ, и стал жить у реки, забыли о прошлом, о родных песках, о горе, о Боге.

Сестры жили вместе, почти не расставаясь. Входило солнце, и сменяла его луна. Пастухи пригоняли в вечерней

пыли стада, воздух наполнялся ароматом печеного хлеба и молока, не было болезней, и враги обходили стороной их землю. Но никогда и никто не слышал смеха и песен младшей сестры. Для нее оставались только сны и ночные воды зеленой реки, которая умела слышать и понимать.

И однажды луна лучом своим коснулась руки и лба младшей сестры, и река шепнула ей, и песок под ступней напомнил. И ушла она. От очага, где всегда кипел котел, от любви, которая крепче стен, от тучных нив и густых садов, где не обжигало солнце. Ушла. Ушла туда, где пусто, где есть Бог, есть любовь, где солнце — ожог, где ветер отрывает от земли, где сны — явь.

1953

Сталин

5 марта 2003 года — пятьдесят лет со смерти Сталина. Все снова возбудились и фантазируют. Аргументы и свидетели-очевидцы множатся, ажиотаж показаний размыл цель.

5 марта 1953 года. Время около полудня. Бабушка и я возвращаемся из бани. По будням в первой половине дня там мало народу, чисто и не жарко. Тихо и молча шли переулком Льва Толстого и по Учительской к дому. О том, что свершилось то, что с напряжением ждали все, что было содержанием жизни всех последних дней, стало понятно по флагу с траурной каймой. Его крепили над входом в единственный на нашей улице двухэтажный дом, тротуар перед ним был мощен особо — мозаичный бетон с косыми ромбами. Тротуар был вымыт и на нем несколько человек что-то делали с красно-черными полотнищами. На груди у них были красно-черные розы. Такие я видела впервые. Потом их или банты попроще носили все. Ни я, ни бабка не посмели произнести вслух: «Сталин умер». Уже перед нашей калиткой я подняла глаза на бабушку, — губа закушена, слезы. И дома молчание. Я рвусь в школу (мне во вторую смену), мне интересно, как там все, что там, что сейчас надо делать, мне надо быть со всеми! Бабушка не пускает так, как она умеет — каменно: «нет».

Провод нашей радиотарелки выдернут из розетки, но это мало что меняет, все остальные выкручены до предела, воздух гремит речами, музыкой, сиренами, гудками.

Накануне был мой день рождения. Из гостей пришла только тетя Маруся, мама, сомневаясь и оправдываясь, все-таки испекла небольшой пирог. Сидели, пили чай с пирогом, почти не говорили и слушали, слушали бесконечные радиобюллетени о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича, сдержанно-трагически читаемые Левитаном. Тетя Маруся хлюпала носом, своим милым длинным носом, теперь еще и красным. Мои слушали всухую. Это был мой единственный день рождения без гостей, день рождения, не имеющий права быть праздником.

И вот спустя пятьдесят лет опять день рождения, тоже юбилейный (тогда десять, сейчас шестьдесят) без гостей, без стола — у меня грипп. Для полноты совпадений — один гость, прорвавшийся сквозь карантин.

И чтобы сейчас ни говорили, я точно помню пусть детское, но очень ясно и остро чувствуемое изменение ритма времени. Это, как сильным ветром качнувшее город, это, заставлявшее плакать, молча и быстро собираться, идти, делать, все вымыть, это желание быть со всеми, это напряжение лиц и улиц. Эта всеобщая готовность, собранность — была не только смерть Сталина, не просто его смерть — это был разлом. Старое и новое. Щель, разлом и сквозняк. Кончилось время, умерло время, то время, в котором мы все жили, и никто не знал, какое будет новое? Будет совсем по-другому. Это чувствовали, знали все и боялись многие. Но все прощались.

И витало шепотом и обмолвками: «Берия». С ним я еще столкнусь, с этим именем, и в толпе, сминающей самое себя в день похорон, и летом, в июле, в Москве.

март 2003 г.

Берия

Летом 1953 года мы с бабушкой едем в Хосту. Туда каждый год ездят Сливинские, семья, где бабушка лечит детей и с которой она дружна. И вот они берут нас с собой. В Москве мы живем, ожидая билетов (вернее, они у нас есть, но их надо «компостировать»), у знакомых Сливинских в Перово, тогда это было Подмосковье, и дом был именно дача — двухэтажный, деревянный, с огородом и нужным домиком в самом конце сада-огорода. Но зато там был телевизор, которого мы в Ташкенте еще не видели.

По инициативе Сливинских была устроена экскурсия на такси, чтобы нам, детям, показать Москву не фрагментами, а «чтобы создалась целостная картина». Дети Сливинских — сын-старшеклассник и дочь Надя, года на три старше меня. После Воробьевых гор, ВДНХ наши две машины въехали на Красную площадь, машина наших приятелей шла первой, ехали мы медленно, всё — и Спасская башня, и Мавзолей, и музей Революции (или Ленина?) было знакомо не только по кинокартинам и киножурналам, детским журналам и книжкам, но и многократно рисовано мною для школьной стенгазеты, на уроках «изо» и просто для себя. Очень красиво и празднично это выглядело в полуденном июльском солнце, подогретом еще и моим детским восторгом, и необыкновенностью всей поездки. Впервые мы отправились так далеко, первый раз я была в ресторане, первый раз еду в такси. Первый раз я в Москве — городе, любовь к которому внушалась с первого школьного дня и, к моим десяти годам, уже сидела во мне прочно. То, что случилось потом, очень трудно описать в ощущениях. Только что было торжественное, просторное следование картин города, счастливое чувство делящегося праздника. И вдруг

хлопки, сначала даже не определяемые как выстрелы, потом стали слышны не только отдельные выстрелы, но и очереди, наш водитель почему-то пригнул голову, откуда-то враз появились машины с военными, что-то кричали в рупор, в машине Сливинских было видно прижатое к заднему стеклу лицо Надиной мамы, было件нятно, что она кричит и что-то показывает рукой. Мы на довольно приличной скорости покинули площадь и въехали на улицу Горького. Я смотрела во все глаза и вертелась во все стороны. Видела, что вдоль кремлевской стены бегут группы военных, не знаю, какого рода и сорта они были, до сих пор не понимаю ничего ни в чинах, ни в форме. Но эти небольшие группы были одеты именно в военную, а не в милицѳйскую форму, и в руках у них было оружие. Сзади нас ехала еще одна легковая машина, и я видела сквозь заднее стекло, что после нее очень быстро дорогу перекрыли машины, встав поперек, и машины тоже были военные, цвета «хаки» из тех, что мы называли «газиками».

Не помню, как и чем добирались до дома, на этих же такси или электричкой, все происходило очень быстро, молча и нервно. Дома, так же быстро и лихорадочно оповестив хозяев, бросились к телевизору, включили. Остальное — по смыслу передаю точно, но за дословность поручиться, конечно, не могу. На экране лицо женщины-диктора. Лицо напряженное, напуганное. Текст примерно таков: В Москве (или в Кремле?), нет, все-таки в Москве, произошел правительственный переворот, еще какие-то две фразы, не больше, потом: «арестован Лаврентий Берия». Два слова — «арестован Берия», абсолютно точно. Потом звук исчез, а диктор продолжала что-то говорить, пошли помехи, снова ясное изображение без звука и...

экран погас. Меня выгнали в сад гулять, а взрослые с опрокинутыми лицами остались в доме.

Прошло много лет. Во времена Хрущева начали говорить правду. Конечно, не всю и не всегда правду. Следующая волна — при Горбачеве, Коротич в своем «Огоньке» стал печатать материалы, которые и при Хрущеве были открыты, известны и пережиты. Они подавались как новые, сенсационные, но были и действительно новые свидетельства, документы, открылась еще масса архивных, фото- и кинодокументов. И всегда, и везде снятие и арест Берии — это осень, и даже не начало ее, а то ли октябрь, то ли ноябрь. Описание самого ареста — мирное, тихое. Ну, действительно, какие выстрелы, да еще на Красной площади? В самом Кремле?

Я, конечно, фантазерка. Вернувшись из Хосты, кормила сказками и класс, и двор. И киты у меня водились в Черном море, и медведи в тиссо-самшитовой роще. Один медведь, вообще-то, там был — на огороженной каменной площадке, бедный, замурзанный, его показывали туристам как последнего представителя когда-то богатой фауны этой самой рощи, бывшей во времена медведей лесом.

Каждый раз, читая очередной, «строго документальный» рассказ о последних днях правления Лаврентия Павловича, свидетельские показания авторитетных имен, защищенных званиями и регалиями, я начинала сомневаться в самой себе, постепенно тот июльский московский день уравнивался с китами и медведями, пока, наконец, я не услышала из уст сына Л. П. об аресте отца (и свидетель той телевизионной передачи у меня есть — Антон). Полный, облысевший, очень отдаленно напоминающий папу, сын рассказывал именно то, что видела и слышала я.

Он назвал дату — какое-то июля, брали Берию вооруженным способом, с выстрелами и в Кремле. Передача из серии «Большие родители», и была она показана не более 5 лет назад. Я тогда записала и июльскую дату события, и дату телевизионной передачи, и имя сына. Не могу найти, но зато могу теперь написать то, что видела и слышала в июле 1953-го в Москве.

День похорон

Тайком от взрослых и даже дворовой ребятни мы с Анькой отправились на Красную площадь. Перелезли через забор и соседним двором на улицу, заматали следы. Нас немного смущало, что самого Сталина там не будет, но все шли, и было совершенно невозможно остаться в стороне. От родителей обязательно попадет, но остановить это нас не могло, это было не просто любопытство, нет — ощущение мощной воронки, куда втягивало. На время частная, личная жизнь как бы исчезла, люди стали единой массой и жили только этой смертью, которая тоже не была смертью человека, а чем-то громадным, катастрофическим. Противостояние, отдельность моей семьи, молчаливый или скупно проговариваемый протест общей истерике не удержали меня в орбите дома. Я хотела быть с народом.

По улице Пушкинской до сквера Революции мы шли в густой толпе тротуаром. По проезжей части двигались организованно шеренги людей с флагами, транспарантами. Покачивались портреты вождей, политических деятелей союзного и местного республиканского масштаба. И лицо Сталина везде, на стенах, на машинах, над толпой.

У сквера первые заградительные грузовики. Сумели влиться в организованную колонну. Ближе к Красной

площади движение замедлилось, а перед улицей Карла Маркса и вовсе остановилось. Люди все прибывали, началась давка. Кто-то нас спас. Помню только, что довольно сурово было сказано: нечего, девчонки, вам тут делать, и за шкирку выкинули-выдернули из толпы. Мы с Анькой устроились в окне-витрине книжного магазина. Часто мы потом вместе с папой ходили в этот магазин «Академкнига», и никогда я не рассказывала Стасику, что у меня связано с этим местом. Металлический поручень ограждал витрину. Между ним и стеклом витрины только дети и могли поместиться. Сначала мы не очень горевали, смотрели и слушали во все глаза и уши и надеялись все-таки присоединиться. Народу все прибывало, а вперед не пускали. Сначала ропот, потом первые вскрики. Прямо перед нами громадная фотография — череда партийных лиц, но слышна единственная фамилия то здесь, то там — Берия, Берия. «Какой? Кто из них?» — «Да вот тот в очках — Берия!» И уже не таясь, громко: «Берия будет!» «Он додавит, он уж народ перемелет!» Какой-то нелепый кошмар неуправляемой толпы, сминаящей самое себя, заставил нас вжаться в стекло, а за наше ограждение цепляются руки и, не выдерживая напора, отрываются.

И последнее видение — конная милиция, кони вздыблены, крики, а на фоне серого, пасмурного неба фотография и среди них тот, которого все боятся и не любят.

2003 г.

P. S.

У нас в гостях была Оля Вараксина⁵⁶. Я дала ей почитать тексты. Она, оказывается, тоже была участницей, но в другом, не самостоятельном статусе. Вместе с мамой и младшим братом они организованно шли в колонне трудящихся прощаться с вождем. Прощание заключалось в круговом обходе памятника Сталину, стоявшего в центре сквера Революции. Так что наше с Анькой представление о конечной цели — Красной площади — оказалось ошибочным. Потом, в хрущевские времена, памятник Сталину убрали, постамент модернизировали, срезав верхушку диагонально. На гранях высекали слова «мир — дружба — равенство — братство», на русском и узбекском языках, за что в народе камень получил прозвище «словарь». Осталось сказать, что первоначально здесь в 1910-м был заложен, а в 1913-м открыт памятник генералу Кауфману⁵⁷ работы скульптора Н.Г. Шлейфера. Это была многосложная композиция, в которой фигуры располагались на высоком пьедестале в виде среднеазиатской крепостной башни, а в подножии лежали трофейные крепостные пушки. Бронзовый генерал держал обнаженную шашку в руке, один из солдат трубил отбой. В 1918 году памятник был снят. Сейчас на этом месте воздвигнут монументальный всадник — Тимур, от которого нынешнее руководство Узбекистана ведет свою версию истории.

⁵⁶ О. В. Вараксина, одноклассница и сокурсница.

⁵⁷ Константин Петрович Кауфман (1818–1882) — военный деятель, инженер-генерал (1874), с 1867 г. генерал-губернатор Туркестанского края.

Балет (и не только он)

Из всего, что любила мама, выделить можно — лошади, цветы, балет, солнце! Много, очень много и другого, но это страстно, всем существом!

Моя формула маминого способа жить: люблю — не с собой уношу, а тебе приношу. Отсюда и основные два качества: внутреннее — доверчивость, внешнее — приветливость.

Конечно, мамыны привязанности, любовь, дружбы, служения, ее очень растратный способ жить в этом мире много сложнее и богаче моих формул, но хочется найти главное и успеть о главном. А в главном я не ошибаюсь — врожденная природная способность любить, а значит, не присваивать.

Хорошо помню, как мы ходили на фильм-балет «Ромео и Джульетта» с Галиной Улановой⁵⁸. Шел он только в Доме ученых и всего три дня. В первый день его видела мама с Раечкой Мурзовой. Они были отпущены с работы на какое-то «ученое» заседание, увидели афишу (работавшие за городом ботсадовцы зачастую вовсе не знали, что делается в городе), заседание вовремя кончилось, и все чудесным образом совпало.

⁵⁸ Галина Сергеевна Уланова (1910–1998) — балерина. Фильм вышел в 1954 г., а знаменитый балет «Ромео и Джульетта», легиший в его основу, поставил в 1940-м балетмейстер Л. М. Лавровский — родной дядя будущего мужа моей мамы и моего отца (*прим. А. У.*).

Потрясенная фильмом, счастливой мама могла стать при условии, что я тоже его увижу. Остаток вечера строились планы — как пойти со мной. Еще два дня и только дневные сеансы. Дни будние, время рабочее. И вот моя преданная работе мама, нередко и выходные дни проводившая в Ботаническом саду, появляется дома в час дня, возбужденная, легкая, радостная, удравшая с работы! В зале человек пятнадцать. Ощущение чуда. Танец, когда совсем перестаешь видеть его красоту, а ясно и понятно говорит душа. И особенная полнота восприятия, праздника, парения оттого, что мама рядом. Она молчит, но она вся вместе с Улановой и со мной, и я очень слышу ее. В перерывах, когда меняли коробки с пленкой, мы, обычно имеющие что сказать, даже голов не повернули друг к другу.

Обратно шли медленно, через парк Горького, посидели на скамейке, помолчали, а потом там же, в парке, решили, что и завтра пойдем! А я, пока мы сидели молча на скамейке, очень вдруг ясно поняла, что вот так я хочу любить и именно такая любовь, и только такая мне нужна! Сколько мне было лет? Наверное, тринадцать или четырнадцать. Знать бы, что, установив такую планку, обречен. Но откуда мне было взять такую трезвую осторожность? С такой мамой! И не с ней одной! Вечером уговаривали Стасика. Он смеялся, отнекивался, шутил, что маму за прогулы с работы выгонят. У меня было что-то неотложное в школе, я склонялась к исполнению долга. У мамы сделалось несчастное лицо, и я встала на ее сторону. Вдвоем, так вдвоем! На следующий день мы встретились с мамой у входа в Дом ученых. В пустом фойе нас ждал счастливый нашим удивлением смеющийся папа с мороженым и билетами — «Семья прогульщиков

в полном составе»⁵⁹. Второй просмотр не был для меня таким оглушительным. Уже можно было увидеть детали, те божественные мелочи, что не заметила в первый раз. Никогда не видела ничего лучше, глубже, тоньше, целомудренней Джульетты — Улановой. И потому, верно, Плисецкая⁶⁰ так и не проняла меня: мощь, техника, новации — безупречно! Да. Но этого касания души, нежной простоты в ней не было, а я уже знала, что бывает. И потом, когда я видела Уланову, это всегда непрерывность ее бытия на сцене, отсутствие «концертности», когда сначала 32 фуэте, потом партнер, его номер, потом она, потом вместе. И уже внимание на красоте и сложности исполняемых «па», отточенной техники, мастерства. Уланова же — поток, даже и не знаешь, красива ли она, она танцует душу. Очень близко подошла к Улановой, на мой взгляд, Максимова⁶¹. Она тоже танцует драматургию образа, и, видя ее, так же забываешь о технике и начинаешь видеть балет не глазами, а сердцем.

⁵⁹ Не шли мне в пользу уроки. Каким восторгом, событием на жизнь был наш «прогул»! И вот я, уже в десятом классе, у нас гастроли Имы Сумак — легендарной певицы — и песни, и голос, каких нет и быть не может. Раечка Мурзова расстаралась, перетряхнула все свои знакомства, сумела достать три билета, я же уперлась — завтра физика! Бились надо мной, бились и ушли вдвоем. Я до глубокой ночи сидела над ненавистой физикой, ничего хорошего из этого не вышло, то ли не вызвали, то ли контрольную перенесли. И вообще, физика так и не продвинулась ни на завтра, ни к концу года, а Има Сумак, потрясшая маму, для меня осталась только в паре маленьких пластинок фирмы «Мелодия», купленных мне в утешение Стасиком.

⁶⁰ Майя Михайловна Плисецкая (р. 1925) — артистка балета, народная артистка СССР (1959).

⁶¹ Екатерина Сергеевна Максимова (р. 1939) — артистка балета, народная артистка СССР (1973).



Замерзший фонтан перед театром. 8 ноября 1953 г.

Мама и балет. Об этом можно рассказывать бесконечно. Ну, вот, еще немного. Подозревала тогда, а сейчас почти уверена, что оперу «Князь Игорь» мама любила из-за «Половецких плясок». Перед их началом она как-то начинала готовиться, удобнее устраиваться в кресле, иногда даже вслух проговаривалась: «Вот, вот, сейчас!» А после вздох, вернее, выдох, как будто сама танцевала. И всю оставшуюся часть оперы спокойна, нет, не равнодушна, конечно, нет, но главное случилось. Мамина любимая опера «Кармен». Но убеждена была мама в том, что лучше было бы — та же музыка, но балет! Не дожидаясь «Кармен-сюиты». Я не совсем приняла-поняла, по крайней мере, первую версию; очень интересно, что сказала бы мама. Ей вкус был дарован природой, как зрение, нюх, слух — все отличного качества.

В нашем Ташкентском театре оперы и балета имени Алишера Навои своих прима-балерин какое-то время не было, но гастролеры не оставляли пустот, танцовщики приезжали первоклассные. И поначалу на появившуюся в дневных детских спектаклях Бернару Кариеву⁶² как-то и не обратили внимания. Ее первое выступление в «Жизели» было вынужденным. Перед началом объявление: «в связи с внезапной болезнью... в заглавной партии Бернара Кариева». Вместо приезжей знаменитости своя, но неизвестная. А по-местному, снобистски-провинциальному суждению, ташкентское балетное училище могло обеспечить кадрами только кордебалет. И вот сразу, в обстановке только что не улюлюканья, Кариева стала примой. Мама к ней относилась почти с молитвенным обожанием. Тоненькая, маленькая, легкая Бернара танцевала всегда как-то очень изысканно, нежно и чуть печально. Особенно хороша была в «Дон-Кихоте» и «Жизели». Мама мучилась. Она чувствовала себя одаренной, и все пыталась придумать способ отблагодарить. Помог случай. В сквере Революции в деревянном резном павильоне, оставшемся еще с дореволюционных времен, располагался магазин «Цветы». В нем регулярно устраивались выставки, где ботанический сад представлял горожанам свои достижения. Цветов привозили с избытком. И вот мама после открытия шла по улице Пушкинской, неся не вместившиеся в экспозицию цветы. Навстречу — Б. К. — летящая походка, опущенная головка. Мама сумела вручить ей все, что несла, а это был громадный (ведерный) букет. «Ой, что вы! Спасибо! Я на репетицию, я всем

⁶² Бернара Рахимовна Кариева (р. 1936) — артистка балета, народная артистка СССР (1973).

раздам. Спасибо!» Маму отпустило, была счастлива, и только огорчалась тяжестью цветов, о весе Кариевой спорили — одни стояли на сорока пяти килограммах, поклонники настаивали на сорока двух.

Мамино состояние мне аукнулось. На концерте Лины Мкртчян⁶³. Не выдерживая ее отдачи себя залу, хотела снять с себя перстень и отдать. Антон остановил: «может не понравиться». Жалею, что не сделала. А перстень ушел, последней данью-прощанием с Черным морем.

И еще примечание к нашему походу в кино вдвоем. Я вообще больше всего любила ходить в кино с родителями. Легко меняла свои планы встреч с девчонками, отменяла свидания, если намечалось совместное посещение. Папа готовился основательно, билеты покупались заранее, он отстаивал часовые, а порой и многочасовые очереди, но допустить, чтобы мы собрались и сорвалось, не мог. Всегда уходили из дома вдвоем. Билеты, и на хорошие места, у Стасика, я в серединке, держу их под руки, и мы не торопимся. И чувствуем себя так хорошо, так счастливо, очень дружно. Ни с кем, никогда не доставляли мне такого удовольствия походы в кино, как те наши совместно-тройственные. Может быть, именно потому, что вместе мы ходили только в кино. Предпочтения других музыкально-театральных жанров у всех были разные. Стасик любил цирк, любя Стасика и Куприна⁶⁴, полюбила цирк и я. Маму мы не сумели приобщить и ходили в цирк вдвоем, без нее. Мама не любила лилипутов и обезьян, ей жалко было хищников, а в так восхищавшей меня джигитовке ей казалось, что ее

⁶³ Лина (Елена Владимировна) Мкртчян, оперная певица (контральто).

⁶⁴ Александр Иванович Куприн (1870–1938) — писатель, известен любовью к миру цирковых артистов.

любимым лошадям на арене тесно. Папа же по-детски простодушно радовался загодя предстоящему празднику, подсовывал мне книжки про Дуровых. На представлении хохотал до слез, замирал, когда работали под куполом, и буквально отбивал себе ладони. И я люблю цирк всю свою жизнь, его запах конюшни, опилок, шумную детскую толпу, красный круг арены и какой-то особенный шик объявления номеров с растяжкой последних слогов. Сейчас, правда, с исчезновением традиции честной работы, все более усложняющейся технологией, оттесняющей артиста и даже заменяющей его, цирк становится для меня чужим, все больше в нем эффектных, холодных элементов «шоу». В Ташкентском цирке была еще своя особинка. В Средней Азии с давних времен существовали бродячие цирковые труппы — дорбозы. До 1940-х их можно еще было встретить на базарах, на праздниках. Работали они на канате, который натягивали очень высоко. На нем с длинным шестом-балансиром, в мягких сапожках-ичигах без всякой страховки они и устраивали свои представления. Форма была мастерская, рискованная, но смысл был в другом. Это всегда спектакль, причем остросатирический. Артисты перекидывали друг другу, как мячи, короткие реплики, едкие и адресные, но исполненные в такой добродушно-наивной манере, и так умело играли в дурака, что их редко призывали к ответу. Хотя, бывало, Бухару с обидчивым эмиром дорбозы обходили стороной. Уже после войны этот совершенно народный цирковой жанр был влит в официальный цирк. Они стали пользоваться страховкой и большой любовью зрителей. Не хватило страховки другого рода. Чем вельможнее становился Рашидов, тем печальнее звучали шутки... и как-то свой очередной сезон цирк открыл без них. Потом, с возрождением национальных праздников, они снова появились

на площадях и аренах стадиона, но молча. Прервалась традиция Ходжи Насреддина.

Оперу папа находил искусственной, фальшивой, к балету был нейтрален. И был одинок в своей увлеченности «легким жанром». С деликатным упорством протаскивал в дом эстраду. Сначала были куплены пластинки (по одной не чаще раза в месяц), потом проигрыватель. Мы остались глухи и к Шульженко, и к Утесову, не говоря уж о Трошине и Лещенко. Тогда проигрыватель был унесен в темную комнату, в угол за буфетом, где занимался своими учеными писаниями Стасик, и там тихонько, склонив к пластинке ухо, в одиночестве наслаждался непонятый папа лирикой. И только Райкин объединял всех, его слушали, как правило, за вечерним чаем. Торжествующий Стасик водворял проигрыватель на стол, ставил только что купленную пластинку и хохотал так, как только он умел в нашей семье — до слез. Мы начинали смеяться вслед, заражаясь, а мама уже и над папой.

В оперу мама меня привела первый раз, когда мне было пять или шесть лет, на детский спектакль «Волк и семеро козлят». Все было до такой степени нереальности красиво и ново, что это свое первое посещение оперного театра я помню до сих пор в мельчайших деталях. Мы сидели в шестом ряду партера на двух крайних креслах от центрального прохода. Пришли мы рано, мама понимала, что мне нужно было время освоиться. Сначала я сидела в красном бархатном кресле, замерев, и по указке мамы смотрела поочередно на пузатые ярусы-балконы, громадную сияющую люстру на потолке, малиновый занавес. Мама потихоньку объясняла: «Это резной ганч — самаркандские мастера, и как его делают, и как потом золотят, а занавес — бухарские мастерицы шили золотом,

а сейчас иди и сама загляни, там впереди, в яме — оркестр». И тут стали доноситься звуки, эту чудную легкую какофонию настраиваемых инструментов я с тех пор всегда слушаю с тем ознобом, который возник тогда. Я осмелилась и пошла одна, привстав на цыпочки, увидела оркестр и поняла, что впереди меня ждет что-то грандиозное. Лысый дядька чуть-чуть пошевелил рукой и коснулся литавр — а звук был такой! Потом долго и тихо гасла люстра, все тише становилось в зале... Сзади нас бушевал мальчик, он пытался предупредить козлят, потом рыдал, когда их съели, потом ликовал. Я хоть и сочувствовала всем сердцем, почему-то знала, что все понарошку, и даже заметила, куда деваются довольно объемные козлята. А в антрактах мы с мамой гуляли по всем трем этажам фойе. Первый этаж — фрески, темпера. Резьба как окантовка, художник Ахмаров, он потом преподавал нам на архфаке дисциплину «монументальная живопись в интерьере». Второй этаж — резьба по ганчу и мрамору, резные деревянные двери (самаркандские и хорезмские мастера), третий этаж — самый роскошный и изысканный — совершенно белый, ганч на зеркальной основе (бухарские мастера). Театр Ташкентский красив, его мне не с чем сравнить, таких просторных фойе, такого богатства декора не встречала, хотя ревниво всматривалась в фотографии многих театров. Помню, когда впервые попала в Москве в Большой, была просто обижена, ну как же так, только зал, а пространство для публики — это только функциональное распределение потоков, тесно, некрасиво, в антракте есть смысл идти только в буфет.

Театр в Ташкенте начали строить во время войны и закончили вскоре после ее окончания. На строительстве работали пленные японцы, и бытовало устное предание,



В театре оперы и балета им. А. Навои. Мастер по ганчу

что, когда подключили здание к отоплению, горячая вода хлынула в подвалы, это грозило крупной аварией, и виной тому ватники, которые японцы понапихали в трубы. Ну, а история конкурса и победы в нем тоже устная, но фактически точная. Во всесоюзном конкурсе на проект оперного театра для Ташкента победил молодой архитектор, выпускник архитектурного отделения строительного факультета Ташкентского политехнического института. Победитель был объявлен — Пителин. Но Шусев⁶⁵, тоже участник конкурса, академик к тому времени и вообще фигура, сумел все подмять под себя. К тому же многое из ташкентского проекта перешло в шусевский. Итогом

⁶⁵ Алексей Викторович Шусев (1873–1949) — архитектор, академик АН СССР (1943).

явилось прекрасное здание и навек сломленный Пителин. Тоже наш преподаватель — тихий, замкнутый, щепетильно честный, подчеркнуто исполнительный и никогда не улыбающийся. С отменным вкусом и высоким профессионализмом. Он довольно сухо и скучно читал лекции, но в проекте с неумолимой педантичностью выжимал из студента все, на что тот был способен. Попасть к нему считалось удачей.

Ташкент был любим гастролерами. Встречали их повосточному хлебосольно, театры были хорошо оборудованы, публика благодарная, и местные артисты на уровне. Так что нам завидовали наши друзья из Алма-Аты и Фрунзе, их театральная жизнь, несмотря на номинальное наличие оперных театров и филармоний, таким созвездием именитых гостей не баловала. На период зимних каникул мама запасалась билетами, брала отпуск, и у нас начиналось пиршество. За десять-двенадцать каникулярных дней мы не менее десяти раз посещали театр. Мама меня закармливала, как будто хотела в меня вместить неполученное ею. Щедрой рукой раздвигала занавес — слушай, смотри, бери! К концу каникул меня даже подташнивало, но сколько же я тогда видела! Приезжали Гоар Гаспарян, Козловский, Нелипп, Александрович, Петров, Вишневецкая и многие, многие, кого помню пофамильно, а кого зрением и слухом, но бесфамильно. В филармонии — скрипичный оркестр Большого, симфонический оркестр с Натаном Рахлиным, в камерном — Ростропович, концерты молодого тогда Муслима Магомаева. И бесконечные декады, фестивали, дни Москвы, Киева, Ленинграда, Свердловска, Новосибирска. Лет десять или более того жил в Ташкенте Павел Лисициан и так пел в Травиате Жермона: «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс



А. В. Шусев на строительстве театра

родной, где так много светлых дней было в юности твоей», что сочувствие зрителей уравнивало его с Виолеттой. Танцевала Тамара Ханум, ее совместный концерт с Махмудом Эсамбаевым требует отдельного рассказа. Ираклий Андронников с циклами рассказов в лектории, там же французский мим Марсель Марсо и... ну, в общем, все, что в столице, да еще и своего с избытком.

А с симфонической, то, что называется серьезной, музыкой я познакомилась благодаря Талке Шабаш. Наша школа была рядышком с консерваторией. Талка всегда была в курсе, что там и кто там. И мы после уроков, а зачастую вместо, бегали туда слушать выпускные концерты, конкурсы, там слышали Рудольфа Керера. При Хрущеве ссыльным немцам разрешили из казахских степей переселяться в города, вот тогда и появился в консерватории Р. Керер, в Оперном прекрасное, чистое сопрано Лаут, а в архитектуре Ричард Блезе. А потом моим учителем стал Рауф. Это был больной мальчик, татарин, мой ровесник. Его мама попросила мою помощь устроить сына в Ботанический сад на любую работу. У него была какая-то форма шизофрении, и ему была полезна физическая работа на воздухе. Как и все, кто знакомился с мамой, начинали ее любить, нагружать своими печальями, ходить к нам в гости. Рауф стал приносить мне свои пластинки, и мы слушали их вместе. Первый концерт Чайковского в исполнении Вана Клиберна и Николаевой мы изучали не меньше месяца, пока я начала не только слышать, где Клиберн, а где Николаева, но и понимать то, что слышу. Очень тонко и как-то неутомительно он объяснял мне, что слышит, видит и думает, слушая музыку. Потом мы купили абонемент в филармонию и ходили месяца четыре, это все было еще в школьные последние

годы, а потом Рауф исчез, много недель спустя пришла его мама и сказала, что сын в больнице, и надолго. Прошло года четыре, и я встретила его в троллейбусе. Он стал одутловатый, какой-то весь тяжелый, с тусклым взглядом и замедленной речью. От прежнего подвижного, легкого и умного мальчика ничего не осталось. Больше я Рауфа никогда не видела, а с музыкой не рассталась. Покупала пластинки по подписке, слушала дома, «живой» музыкой удавалось насладиться не всегда, одна я стеснялась ходить на концерты, а попутчиков, именно в филармонию, найти было трудновато, Талка в это время уже жила в Питере.

С Рауфом у нас была интересная история в филармонии. Я описала впечатления тогда же в записной книжке, поэтому помню имя пианиста — Турини. Уже в конце, когда он играл свою последнюю вещь, началось землетрясение. Люстра там на очень длинном шнуре, и она стала раскачиваться, все увеличивая амплитуду. Мы сидели в амфитеатре, и хорошо было видно, как из партера вычищается публика. Люстра влево — и зрителей слева смело, люстра вправо — и опустели кресла справа. Рядом с нами сидело армянское семейство — мама, папа, дочь-подросток, все крупные, яркие, густо-кудрявые. И вот встает папа, представительнейший мужчина, и на весь зал (а акустика в филармонии прекрасная, там потом установили орган, и звучание было соборное), баритональным басом: «Товарищи! Купол строил Сваричевский, прошу успокоиться». И все это, надо сказать, под непрерывающуюся музыку. Публика, хоть ничего и не поняла, но как-то неудобно после такого объявления бежать. Пианист закончил, встал, поклон низкий, так, что белый воротничок на затылке виден, выпрямился и только потом посмотрел на люстру, которая не просто качалась, а и подрагивала

от серии слабых толчков. И тогда зал взорвался аплодисментами уже не музыке, а смелости и выдержке.

Я же потом познакомилась с Таней Сваричевской, внучкой того, кто строил купол, много позже, на защите диплома опознала в комиссии и соседа-успокоителя. Он оказался инженером, доцентом кафедры строительных технологий и очень подробно интересовался всякими разностями в моем дипломе. Но так как я, по своей трусости и всегдашней неуверенности, в проекте своем двадцать раз прошла по каждому узлу, то сумела не обмешулиться. После защиты он, меня поздравляя, задержал мою руку в рукопожатии и вглядываясь: «Где же мы все-таки виделись?» Я постеснялась ему рассказать.

осень 2003 — апрель 2005 г.

Примечание

В книге В.А.Нильсена «У истоков современного градостроительства Узбекистана» (Ташкент, 1988) приведены следующие сведения о здании Ташкентской филармонии (носящей на то время, о котором я пишу, официальное название «Концертный зал им. Свердлова»). В 1912 г. инженером Дьяковым был составлен проект нового цирка-театра взамен старого деревянного шатрового цирка Цинцадзе. Это было здание со сценой и залом, диаметром 18,7 сажений, с металлическим куполом, сконструированным Поповым по системе Шведлера. Была применена сложная пространственная система монолитного железобетонного каркаса, несущего большой сборный металлический купол пролетом 33 метра. В 1913 г. варшавский архитектор А.Е.Гарней разработал архитектуру здания в формах модерна. В 1962 г. интерьер театра был реконструирован по проекту архитектора Войцеховского. В довоенные годы здесь находились русская и узбекская оперные труппы. Землетрясение 1966-го здание перенесло без разрушений. Фамилия Сваричевский во всех этих справках не упоминается. Но если это — ошибка, то сама она характерна и говорит о популярности и авторитете Г.М.Сваричевского. Гражданский инженер, он был ведущим мастером начала века. Сменив Гейнцельмана, он не только наследует ему, но становится основным лицом, регулирующим государственное архитектурное строительство в крае, оставаясь одновременно главным архитектором отдела народного образования. Он вводит новые прогрессивные материалы — железобетон, антисейсмические металлические конструкции, работает ярко, смело, новаторски. Много проектирует и строит учебные заведения, мосты, вокзалы, жилые дома, больницы, кинотеатры. Сваричевский оставил во многих городах Средней Азии великолепные образцы модерна — своего любимого стиля.

Тамара Ханум⁶⁶ — заслуженная, народная, и прочая, и прочая артистка была действительно и заслуженно любима. Ханум — сценический псевдоним, по мужу — Петросян, семейная — Руми. Ее старшая сестра с этой фамилией, имеющей историю, работала вместе со Стасиком и была похожа на свою сестру, только все черты — суше, сдержанней, интровертней. Руми — так назывались в Персии, Иране переселенцы из Византии (Roma — Рум — Рим). Со временем стало означать просто «западные», то есть пришедшие с Запада.

Тамара Ханум исполняла почти все танцы народов мира и все танцы народов СССР. И делала это действительно великолепно. Ей была свойственна не просто пластичность танцовщицы, но пластичность психологическая, внутренняя, позволяющая передать темперамент, национальный характер танца. Махмуд Эсамбаев⁶⁷, тоже прекрасный танцовщик, владел все-таки более ограниченной гаммой и оставался кавказцем, но их никогда не сравнивали, пока они сами этого не сделали.

Мы с мамой пошли на концерт только из-за Махмуда (гастролер! когда еще увидишь?). Первая часть была балетным дивертисментом, во второй — Тамара Ханум и Эсамбаев. Сначала все шло обычно. Ведущий объявляет, танцор исполняет. Но постепенно обоими завладел кураж.

⁶⁶ Тамара Ханум (Тамара Артемовна Петросян) (1906–1991) — танцовщица, певица, балетмейстер, народная артистка СССР (1956). Участвовала в становлении узбекского балетного театра. Реформатор исполнительского стиля узбекского женского танца, собиратель песенного и танцевального фольклора народов мира.

⁶⁷ Махмуд Алисултанович Эсамбаев (1924–2000) — артист балета, эстрадный танцовщик. Народный артист СССР (1974). Герой Социалистического Труда (1984).



Тамара Ханум. 1950–60 гг. Фото Д. Трахтенберга

Уже без конференсье предлагали не только залу, но и друг другу все более и более сложное, редкое. Совсем перестали уходить со сцены и уже только друг другу: «А это можешь? А вот так?» Оркестр еле успевал подхватывать. И пошло... Зал тоже завелся, и уже стало похоже не на театр, а на стадион. Хлопали, вопили — болели, конечно, за свою Ханум. Кончилось все тем, что танцевать стали вдвоем что-то по ходу изобретаемое и в неммыслимом темпе. Оркестр умолк, отбивали ритм только ударные. И Тамара Ханум перетанцевала Эсамбаева! Тот сидел по-турецки в центре сцены, бил в ладоши, а она кружилась вихрем вокруг него. Потом и Тамара Ханум слегла, но как! Не рухнула, не станцевала поражение или усталость, а признание в любви Махмуду, но он не смог встать на все ее призывы, и, отвергнутая, она «умерла» рядом от горя. Сделала она это с таким юмором и перебором в средствах (промокала слезы юбкой, отжимала ее), что зал стонал от хохота и сотрясался от оваций.

P. S.

Махмуда Эсамбаева я видела вне официальной обстановки в году, наверное, 1955–1956, дома у моей одноклассницы Зарки Тхостовой. Он приходился им каким-то дальним родственником. Зара с мамой жили в тесном дворе за Алайским рынком в крошечной комнате, куда вел тоже крошечный и узкий коридор, мощный кирпичом. В комнате поверх кирпича без всяких лаг были положены доски. Вся обстановка состояла из кровати, письменного стола у единственного окна и тумбочки с посудой, на которую была водружена этажерка с Заркиными учебниками и небольшим количеством книг. На стене еще полочка с крючками для одежды и одна



Тамара Ханум. 1974 г.

табуретка. Керосинка в коридоре, не имеющем двери. Заркина мать, очень худая, смуглая, с громадными глазами, не просто нервная, а какая-то дерганая, плохо говорящая по-русски, но только по-русски говорящая с дочерью, работала на пивзаводе мойщицей бутылок. Была, судя

по всему, неграмотной. Читать она, по крайней мере по-русски, не умела. Они были высланы после войны из Осетии. Сестра матери, Заркина тетка, не имела права жить в городе и жила где-то в области, работала там учительницей. Была много младше Заркиной мамы, имела высшее образование и была одинока. Заркин отец? Это было табу. Уже после того, как Зарка кончила институт и проработала несколько лет, она ездила на Кавказ, навещала родных, не было ее больше года, а когда вернулась, сказала только, что там еще хуже, и больше из нее ничего вытянуть не удалось. А тетка так и осталась в колхозе, построила там дом, помогала материально своим в Ташкенте, но жила одна и менять ничего не хотела. Зарка в свои студенческие годы страстно любила индуса, обучавшегося в Ташкенте, любовь была взаимная, но индийская родня не разрешила, и осталась Зарка одна. Веселая, открытая, умеющая дружить, очень любившая ходить в гости и принимать гостей, очень симпатичная именно своей открытостью, смешливостью, постепенно замкнулась, стала молчаливой, круг знакомых сузила до двух человек, в один год похоронила и тетку, и мать, живет в Ташкенте на свою крохотную пенсию, общаясь довольно нерегулярно с единственной школьной подружкой.

А тогда, почти в детстве, Зарка примчалась ко мне звать меня на Махмуда Эсамбаева. Я, умирая от стеснения, восторга, любопытства, страха, пошла. В тесноте комнаты мы растворились, вжалась в стены, царил Махмуд. Я впервые видела и слышала Заркину маму, много и плавно говорящую на своем языке, со спокойным достоинством угощающую его (готовила она очень вкусно). Ну а потом, конечно, Махмуд съехал на танцы. Терзал бедную Зарку. А та от природы плоская, костистая, не гибкая, и ничего



Зара Тхостова (рис. Успенской)

не получалось. Зарка была уже вся красная, на грани слез, причем и мама еще добавила — выскочила во двор и прошлась вокруг водопроводной колонки как-то очень генетически пластично. Дальше уже было дворовое

представление. На балкончиках и в окнах, в дверях и на приступочках — зрители, Махмуд не может зрителя не угостить — танцует, правда сдержанно, чуть-чуть, и всё Заркину маму делает звездой. А потом меня вытянул, но я-то не Заркина мама, я от смущения только что не мертва, но я люблю и умею танцевать индийские танцы. Правда, об этом знает только моя мама. Прошла целая вечность с тех пор, и теперь можно уже и рассказать, что, взяв меня за руки и не выпуская из своих, танцевал со мной сам Махмуд Эсамбаев, а потом уже и отпустив, и как же мне было легко с ним танцевать, как само собой импровизировалось! И какое это было упоение! И когда он мне аплодировал, я знала — было за что.

Май 2005 г.

* * *

С Махмудом Эсамбаевым я, застенчивая до патологии, танцевала, завлеченная им в стихию танца и защищенная им же. А получилось потому, что он был Мастер.

Потом в жизни это правило неукоснительно подтверждалось. Учиться интересней у требовательных и умных, работать — с теми, кто больше тебя знает и умеет. Казалось бы, на сером фоне проще выделиться, может быть, но дело спорится и удовольствие получаешь, когда в паре с сильным, раскрываешься полнее и можешь порой то, чего сам от себя не ждешь. Тому дню я благодарна не только памятью праздника, но возможностью преодоления себя, в периоды черного самоедства мне утешением служил тот детский мой триумф.

Танцевать я любила и этому занятию предавалась самозабвенно и постоянно и в школьные, и в институтские годы. Больше любила только воду и плавание, хотя



Махмуд Эсамбаев. Индийский танец, 1950-е гг. Фото Б. С. Кудряцева

профессионально не умела ни того ни другого. Профессионально умела стрелять и даже имела значок «Ворошиловский стрелок». Танцевала я в полном соответствии со своим характером — в кругу ближайших друзей, для мамы, чаще всего одна. На коллективных мероприятиях заподозрить меня в склонности к танцам было невозможно. От зажатости я деревенела, старалась быть как можно незаметней, прикрывалась чужими спинами и ждала, когда все это кончится.

Перед выпускным вечером в школе для нас, двух десятых «А» и «Б», наняли танцоров-тренеров, супружескую пару. После уроков под конвоем классных руководителей препровождали в зал и пытались учить. Способности были настолько никакие, что из программных четырех танцев мы постигли только полонез, да и тот очень приблизительно. В фокстроте успехи делали единицы, вальс дружно провалился. В конце отведенного для танцевального образования месяца отчаявшиеся репетиторы показали нам, чего можно было достичь! Сначала мы смотрели вяло, танго уже задело, а самба зажгла, началось буйство, все прыгали, орали (но в ритм!), вероятно, с этого начав, можно было добиться результата, но... «Дикарство» было пресечено нашей ханжой-директрисой, и уроки кончились.

Школьный бал открывали полонезом, я шла в первой паре с преподавателем литературы, большим и пузатым. Потом все рассыпалось, поскучнело. Мы с Талкой, не найдя себе применения, гуляли вдвоем по ночному городу, время от времени наведываясь то ко мне домой, то в школу. У Талки дома мама приняла от дочери золотую медаль и просила до утра не тревожить. Моя мама пекла пироги, улыбалась, дома горел свет, вкусно пахло, чай был горячий, Стасик мирно спал на террасе — грусть истаявала. В школе



Махмуд Эсамбаев. Индийский танец, 1950-е гг. Фото Б. С. Кудрявцева

картина была сера и уныла. Обнявшиеся парочки, топчущиеся под музыку в зале, обрамленном с двух сторон рядом кресел, в которых дремал родительский комитет и бодро тарасился педколлектив. Подкатывала тоска — кончилось, кончилось детство.. И с Талкой разлука, пока еще не окончательная, но неизбежность разных дорог, ревнивое чувство потери.

В институте мои танцевальные склонности получили поддержку и даже песенное дополнение. После первого трудового «малярного» курса у нас в группе появились второгодники — Таня Першина и Дина Мадрахимова. Динка, очень музыкальная, быстро, в полгода, овладела гитарой, прекрасно (на самом деле, лучшего исполнения не слышала) пела русские романсы. Приходил с гитарой и поющим другом Юра Мосунов, присоединялась Надя Фомина, наш первый голос. Мы пели много, часто, в основном у нас дома, иногда с участием мамы. Но если в пении я была не более чем хористом, то танец для меня являлся именно сольной темой. Очень любили танцевать втроем — Динка, Таня и я. Специально выбирали дневное время, когда все мои на работе. Сдвигался в сторону стол, ставилась пластинка, любая — от аргентинского танго до Баха. Хотя предпочтения все-таки были: «Болеро» Равеля и его испанские композиции, танцы Брамса, «Танец огня» Де Фалья, «Арагонская хота», «Танец кашмирских невест» Рубинштейна. Танцевали всегда босиком, импровизировали по очереди. Получались три совершенно разных танца. Першина включала в композицию элементы художественной гимнастики, танцевала масштабно, выразительно прочитывая сюжет, эффектно держала паузу, пафосно, пластично и безукоризненно точно застывала в финале. Танец ее был почти всегда драматичен. Динкин танец — это



Дина Мадрахимова

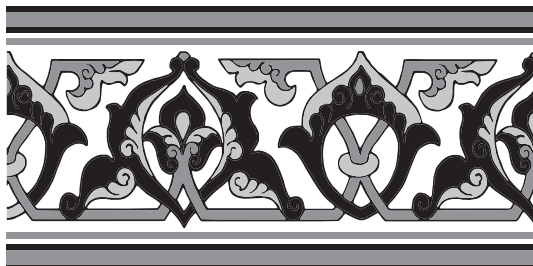
радость, ликование, улыбка, порой даже юмор. Резкость, ломкость движений создавали легкую, веселую графику танца, усиленную виртуозной цепочкой повторов, потом рисунок сменялся восточной плавностью с акцентированной пластикой рук или взвихренностью испанских «па» с их скрытой страстью. Часто сопровождала танец треском хорезмских «кастаньет», просто камешков, зажатых между пальцами. Я танцевала без четкого деления на части, внутренне ощущая непрерывность действия. Динка называла меня пластилиновой, Татьяна — гениальной, но она любила художественные преувеличения. Потом устраивали «разбор полетов». Учились друг у друга, рассматривали барельефы индийских храмов, фрески Варахши. И когда это все систематизировалось, продумывалось, оттачивалось в деталях, получались порой цельные интересные композиции. А вариации, нюансы — это уже зависело от настроения, компании, очередной Динкиной влюбленности.

С Динкой мы сочиняли еще и собственные песни на мои тексты. Много позже, уже в Рязани те же стихи превратила в песни Элла Хрусталева. Было странно слышать совсем иную трактовку, отстраненность такая, что даже не знаешь, нравится или нет. Одна песня в первой аранжировке у нас есть на кассете, последующий концертный вариант не удосужились записать, также, как и две другие, которые мне Элла просто напела при случайной встрече на улице. А за первую я даже получила «авторские» 100 долларов. Неловко было тогда, а сейчас смешно.

С невозможностью танцевать я мирилась нелегко. Каждая жилка, каждая мышца тосковала. В Рязани хорошо танцевалось у Чураковых, потом неделю отзывалось радостью. Но пришлось утихомириться и танцевальный аспект жизни сошел на нет.

июль 2005 г.

МАЛЫЕ ФОРМЫ



Мой ковер

Где была моя дорога? На какие тропинки я свернула не тогда и не туда?

Школа — это жесткая колея, с выпадением, перерывом, но, пожалуй, там чего-то рокового не было, только — не научилась закрываться.

Выбор профессии. Здесь туман. Были подсказки? До сих пор не знаю. Но уверенности не было всю жизнь, значит, это все-таки не мое. Но ведь так и не появилось даже намек на знание — что мое? Разве только это — на вопрос ко мне, первокласснице: «Кем ты хочешь быть?» — «Хочу раскапывать мамонтов». Может быть, все-таки археология? Моя любовь к путешествиям, истории, походной жизни? Да, вернее всего, да. Нет, все-таки — раскапывать могилы, пусть и очень старые...

С личной жизнью все против и поперек. Одна вина и сплошь не права.

Антон — якорь, оправдание, цель и куча ошибок.

Остался последний акт. Главное — не столько помочь, сколько не мешать. В данной ситуации сделать добро — это уничтожить зло (в самой себе). То есть предельное внимание на искоренении эгоизма.

И еще успеть записать, побороться единственным доступным мне способом со временем.

2005 г.

Из записной книжки

Казанская Божья Матерь...
Сергий Радонежский...
Иконы, темные лики, мягкое свечение золота...
Надвинутые платки на темные глазницы...
Сухие спины, гордые в своем смирении покорности...
Желтые тропы среди ласковых трав...
И над всем звон, звон колоколов...
И тонко, неуловимо вспоминание этого в душе, будто
видано все это и пережито.
И странно чуждо...
И горько, и сладостно в душе...
Тающим, летящим звоном в золотом воздухе закат-
ном любовь...
А ночь опустится сном, не смертью.

Загорск, 1964 г.

* * *

Лиловеет вечер.
В просеках бора, устланных желтой хвоей, дороги
влажны и упруги.
Скользки под ногами игольчатые колеи.
Бор душист, сыр. Ждуще тих. Чей-то зов или отклик
дивно отдается вдалеке или, вырвавшись из плена, уходит
в море и тонет. Пролеты просек стройны, бесконечны,
манят, уводят своей вечерней далью.
Мачты бора в верхушках голы, гладки, красны, ниже
серы, корявы, мшисты: там мхи, лишай, сучья в гнили и
еще в чем-то, что висит подобно зеленоватым космам
сказочных лесных чудищ...

Но ближе к морю сосны расступаются и выбегают на золотой песок пляжа только самые могучие великаны с тяжелыми узловатыми комлями. Ударяет в лицо настоящий на хвое морской влажный воздух, мягко обнимает все тело. Кожа волнуяще вздрагивает от ласки и желания, и, быстро-быстро ступая по охладевшему сверху песку, бережно входишь в обнимающие волны. Тонким золотом посвечивают покойно лежащие руки, ярко вспыхивают перед глазами гребни волн в последнем луче, и еще тепло все и живо, только бор посинел и погасил свои золотые свечи — лучи стволов.

Пицунда, 1964

* * *

Толстой, старик в поддевке. Борода, палка, босые ноги.

Любовницы — скотницы. Семь раз переписанный роман с Наташей-самкой, Наташей рожающей, богоискательство.

Но вот город. Куча домов на горах и бастион. Каменные мешки с песком для памяти потомков. И надпись — поручик Л. Толстой. Молодое губастое лицо. И нет штампа. Есть родина, юность и свежий морской ветер.

Севастополь, 1964

* * *

Зачем я хочу всегда помнить? Это желание за-помнить? Мысли, слова, деяния свои, чужие, особенно все окрест — закаты, море, дождевые капли, туманы. Фиксация изменения мыслей, мировоззрения, отношения к чему-либо и сравнение этого с другим воззрением, с другими, чужими мыслями, рожденными другим мозгом. И тоска от этого. Откуда она? И что за корысть мне в этом?

Из жажды как-то использовать эту тоску и это счастье мысли и созерцания, что-то создать из них, непреходящее...

Но снова грусть. Все будет забыто...

Тоска одиночества, невозможность ни перелиться, ни слиться. О чем я думаю?

Странно не то, что думаю, важно то, что я думаю, а непостижимее всего, что я думаю о думанье, понимаю мое непонимание, мою потерянность среди всего мира, такого непостижимо бесконечного.

Эта мысль о собственной мысли, понимание своего собственного непонимания есть самое неотразимое доказательство моей причастности чему-то такому, что во сто крат больше меня и, значит, доказательство моего бессмертия: во мне есть, помимо всего моего, еще некое нечто — истинно частица Духа (Бога ли, или как это еще назвать?)

Только человек дивится своему собственному существованию, думает о нем. Это его главное отличие от прочих существ. Но ведь и люди отличаются друг от друга — степенью, мерой удивленья. Все живое на земле в блаженном сне жизни, мир в них, а они в нем. Я же проснулась и уже как бы со стороны гляжу на него, на этот мир. И от этого я бесконечно одинока в этом мире. И я, и все люди.

Человеческие законы, законы общества повелевают: работай, делай, твори, не прерывай работы ради осознания себя, своего места и своей цели, ибо ты раб своего бытия и дано тебе известное назначение, звание, имя.

Бесплодно стремление к пониманию — непонимание ни мира, ни самого себя, окруженного им, ни своего начала, ни своего конца.

Но разве есть они — начало и конец?

Мне сказали, что мне столько-то лет. Я существую, потому что родилась! Что это такое? Рождение? Но мое рождение — не мое начало! Мое начало в той тьме, в которой я была зачата до рождения, в моем отце, матери, в дедах, прадедах, они ведь тоже я, только в несколько иной форме, из которой многое во мне повторилось почти тождественно.

Кому незнакомо ощущение — попадаешь впервые в незнакомую местность и уже был тут, знаешь это, помнишь это.

Самообман? Самовнушение? Но ведь так вероятно, что мои пращуры обитали где-то в северных лесах или ковыльные степи были их родиной. Столько раз передавали они потомкам и наконец передали мне точную форму черепа, носа, подбородка, как могли они не передать и более тонкой невесомой плоти своей? Почему же я при виде темных лесов и серого моря или узких готических башен не могла вспомнить того, что чувствовала некогда, будучи своим предком?

Есть ли у меня конец? Живи я волею случая на каком-нибудь необитаемом острове, я не имела бы представления ни о рождении своем, ни о смерти. Всю жизнь живу под знаком смерти и чувствую все же всю жизнь, будто я никогда не умру.

Каждые семь лет человек перерождается. Люстр. Незаметно умирает, незаметно возрождается. Значит уже три раза умирала и возрождалась я. Умирала уже многократно и, однако, в основе все та же, что и прежде, да в придачу еще вся полна своим прошлым.

С годами все больше не только чувствую, но и сознаю, как страшно зыбки мои представления времени, пространства.

Великий мученик или великий счастливец человек?

И то и другое. Счастье, проклятье человека — есть его «я», жажда утверждения этого «я» и вместе с тем (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщетности этой жажды, обостренное ощущение Всебытия и неминуемого в нем исчезновения. Но разве мы не безначальны, не бесконечны, не вездесущи?

Два десятка лет отделяют меня от моего младенчества. Бесконечная давность! Но стоит немного подумать — и время начинает таять. Не раз случалось: возвратишься к местам, где был ребенком, возьмешь старую, полузабытую вещицу и вдруг чувствуешь, что долгих лет, прожитых тобой, точно не было. Это совсем, совсем не *воспоминание*. Нет, просто я опять прежняя, совершенно прежняя. В том же самом восприятии всего мира, какое у меня было вот здесь, в дни моего детства, отрочества.

В такие минуты не раз думала: каждый миг того, чем я жила здесь когда-то, оставляя, таинственно запечатлевал свой след как бы на каких-то бесконечных, сокровеннейших клеточках моего «я» — и вот они ожили, заговорили.

Секунда — они опять меркнут во тьме моего существа. Пусть! Я знаю, что они есть. «Ничто не гибнет — только видоизменяется». Но может, есть нечто, что не подлежит даже и видоизменению?

Не подвергается ему не только в течение моей жизни, но и в течение тысячелетий? Великое множество таких отпечатков передано мне моими предками.

Богатство способностей, гений, талант — что это, как не богатство этих отпечатков (и наследственных, и благоприобретенных)?

Чувство близости, единства со всеми живущими на земле!

То же самое солнце, что светило две, три тысячи лет назад, что увидели чьи-то глаза поутру! Нет, это совсем, совсем ничего не значит — то, что я живу на земле не во дни Рамзеса, Суллы, а в двадцатом (двадцатый ли?) веке.

А сколько я жила в воображении чужими и далекими жизнями, чувством, будто я была всегда и всюду! Где грань между действительностью и моим воображением, моими чувствами, которые есть ведь тоже действительность, нечто несомненно существующее?

Неутолима и безмерна жажда жизни. Я живу не только своим настоящим, но и всем своим прошлым, не только своей собственной жизнью, но и тысячами чужих, всем, что современно мне, и тем, что там, в туманной завесе самых дальних веков.

Зачем же?

Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, или затем, чтобы, напротив, утверждать себя, обогащаясь и усиливаясь?

Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, высшее, что обещают человеку над его гробом, это вечную память. И есть ли та душа, которая втайне не томилась этой мечтой? Оставить в мире до скончания веков себя, свои чувства, видения, мысли, одолеть то, что зовется смертью, то, что неутолимо настанет в свой срок и во что все-таки не хочешь и не можешь верить!

Но есть еще нечто, что сильнее всех моих умствований. Какой-то высший смысл всего сущего, о незнании которого, непонимании непостижимости бьется в тоске мой разум.

1964 г.

* * *

Концерт Турини. Шестибальное землетрясение. Партер опустел. Шум. Люстра как маятник Фуко. Но пальцы пианиста не дрогнули. Наверное, музыка лучше всего воспринимается под бомбежку, землетрясение или еще во время каких-нибудь взбесившихся стихий. Такая странная щемящая раздвоенность и особая высокая отрешенность образов и звуков от земного Тартара, хаоса, породившего их как мечту о гармонии, как светлую грезу. «Печальные птицы» Равеля. Не было места, где они могли бы сложить свои усталые крылья. Светлые изгнанники, недостижимые и ненужные как сны, светлые сны мечтаний.

1965 г.

* * *

Честным быть с самим собой — самое трудное. Я стараюсь это делать, наверное, с того самого момента, когда интеллект начал пожирать инстинкт, то есть очень давно, но удавалось мне раньше это чаще, оттого, очевидно, что теперь в целях самозащиты слишком часто приходится играть и разыгрывать сценки и водевильчики. Привыкаешь играть даже перед собой, а в таких наслоениях — настроениях сложного геологического профиля лень бывает разбираться.

А какой светлый до прозрачности мир был в моей душе! Даже мучения были чисты, особенно в своей непримиримости.

* * *

Юсуповы, желтые лица, хитрые узкоглазья степных лисиц. Сколько золота переключало из кошель в кошель, сколько снежно-нежных женщин плакало в предрассветный час, чтобы бумажный Вольтер сидел здесь среди темных книжных шкафов, чтобы Версальский парк стал домом, уютом, а за ним синий бор, темные стога и снега, снега, глубокие, мягкие сугробы, круглые до нежности, как груди полонянок.

Архангельское, 1966 г.

* * *

I. Горы

Трудны пути восторга —
за восхищением, за лечением, за восторгом
идти так далеко!..

И отпускает редко часы судьба,
когда чрез суету шагов и сборов,
рублей и разговоров, обедов,
спальников, костров.

И вот: и вдруг, и наконец.

Останешься один — среди вершин и вод,
травинки и камней.

Трудны пути восторга —
мгновения открытости редки.

Но когда под вечер сам воздух обступает
несметной памятью чужих следов.

Все чисто и свежо, восторг и обновление
так ласково и сильно стирает одиночество,
и тяжесть будней отступает в темноту.

Все чисто и свежо,
восторг и обновление,
чужое восхищение и твое,
повиснув в воздухе, поют
звончее и нежней виолончелей.
И это состояние открытости души и жадности,
с которой приникаешь к той мудрости великой,
к вечной простоте, что разлита вокруг.
Она, вливаясь, облегчает
боль, тупую боль
стирает будней мутную пелву
один восторг, почти как боль
Восторг!

II. Театр

Один восторг, почти как боль,
как боль!
Когда ты в темноте и душном мороке духов,
а бархат тепел и кровав, почти что черен.
На подлокотнике рука и ласкова, и чужда.
Одна — защищена и беззащитна, когда
вдруг просто так, не объявив войны,
смычок виолончели с волшебной простотой
уносит тайны и приносит Слово,
Слово, какое Бог лишь мог
произнести душе
замученной и дикой.
Как я люблю, виолончель, твой звук, настрой
и твой восторг, и твой покой
один восторг, почти как боль,
восторг и боль! Покой.

1973 г.

* * *

Фонтан для Джизака

Земной хаос — тартар, кипящая вода, плазма.

Порождение человек, пытается оторваться, познать, взлететь.

Крыло-рука в напряжении поднята, опора — локоть другой руки и колено согнутой, ноги и пальцы вытянутой ноги.

Птицы — свободны (относительно, посему связь цепью и опоры — связь с землей). Летят навстречу струям, они наклонены против движения цепи, струи друг за другом, почти вплотную. Бассейн-квадрат — покой, гладь. Цепь распадается на элементы. Стены воронки гладкие с рисунком линейным (металл).

Гармония вселенной — символы узнанного и непознанного, сверху тонкая пленка воды.

1972 г.

Три дня на хлопке

Три дня, три жарких дня,
три разных дня, три дня подряд,
подаренных судьбою, взорвавших будничнй размер.
Как вспышка, как напоминанье о свободе,
которую, забыв, иль так и не узнав,
— не жаждешь, а тоскуешь беспредметно.
Как полно наслажденье было
и очень кратко и оттого острей.
Было солнце, раскалившее небо,
само небо светило как солнце,
свод весь как праздник извечный и древний.

И в первый день...

Горячий влажный бок коня
и всхрап его, и запах пота,
тяжелый бег, тугая первобытность
монгольского лица, жестокость скул.
Мой страх с отчаянным весельем перемешан
(о, как бы не свалиться, и едем-то, куда — о боже!).
И жажда, которую не утолить,
и выжечь могут щели-угли глаз.

И во второй... где все иначе,

Где тонкая иезуитская игра,
где осторожность, Израилем взращенная веками,
и боязнь, и желанье (его желание — моя игра).
В свободе раскинутое тело, травы умершей запах,
сухая сладость лозы рисунком в небе,
стыда румянец и ненасытность солнцем, поцелуем.
И хочется полета — не земли,
бежишь, едва касаясь, смеешься и кричишь,
сама сильна, земля упруга, до горизонта
все светло и чисто. А вслед — обида!?
Тогда он сразу становится не нужен и нелеп...
А впереди, ну просто до конца земли
всё солнце, солнце и свобо-о-ода!

И в третий день...

Бутылки, помидоры, жара и лень.
Невдалеке, почти невидимы сквозь пыль, быки,
большое стадо, взбивают мощными ногами землю.
И уподобившись иль заразившись,
затеяли игру — почти что фавны,
и бас, рокочущий могучий бас,

и напряженье мускулов до
звона тонкого натянутой струны.
Все мощно, горячий запах пыли,
но... сладость горькая раздавленной полыни.
Высокий нежный звук, с небес упавший,
погасил игру и вызвал к жизни слово,
когда глаза в глаза и нежность,
охраненная кольцом железных рук.
Мгновение, одно мгновение из тех,
что нашу память делают живою.
И это слово, что в песнь не превратится,
останется во мне, чтоб превратиться в музыку иную.

Переписала эти «Три дня на хлопке» и подумала — бог знает, что можно подумать, а все было так невинно, просто молодость, без оков, дисциплины и обязательств, весь итог — один поцелуй, от которого и сбежала, да признание в любви, которое было вызвано минутой, сценарием игры.

* * *

И всё в порядке, всё на месте,
Нам не бывать с тобою вместе.

На сердце новая заплатка,
Но мне не хочется порядка.

Мне хочется, чтоб всё вверх дном,
Мне хочется какой-то дом.

Рискнуть? — Рискну. И я рискую:
Я на бумаге дом рисую.

Он у Байкала, он с трубой,
Он до предела голубой.

Полы в нем щелоком помыты.
Мы в этом доме ждем гостей
Со всех доныне позабытых,
Иль неизвестных волостей.

Вот гости к нам идут по тропке,
Но — краски кончились в коробке...

* * *

Пусть давно унесена рекой шуга,
Пусть до нашего прощанья полшага,
Где-то там еще, по тающему льду,
Я иду к тебе, иду, к тебе иду.

Ненадежен лед, дороженька узка,
Мне другие — не пример и не указ.
Знать, они покой свой очень берегут,
Ну и пусть тогда сидят на берегу.

Я иду, над осторожностью смеюсь.
Я иду, и поскользнуться не боюсь.
По последнему, по тоненькому льду
Я в последний раз доверчиво иду.

* * *

Скоро в прошлое время канет
День, в который нас привечали.
Мои ноги устали от камня,
А глаза от твоей печали.

Хоть последний час озари,
Чтобы было чему присниться.
Сердце ты мое разорил,
Как мальчишка гнездо синичье.

Разбазарил мою судьбу,
Да и гордости поубавил.
К твоему высокому лбу
Прикасаюсь тихо губами.

Вижу завтрашний свет вдали —
Подарил мне второе зреньё,
В ноги кланяюсь, до земли
За сердечное разореньё.

Физика дома⁶⁸

Дома, пожалуй, у меня больше химии. Все руки облезли. Термометры все перебили. Можно было бы поизучать давление пара в скороварке, но я не выношу ее угрожающего шипения. Вот еще пылесос, пожалуй, такие милые турбулентные завихрения, но я предпочитаю старомодный веник. Можно было бы вспомнить закон Архимеда и лечь в ванну, но опять-таки — некогда, и лезешь под душ. Так что дома у меня с физикой — не очень.

А так как я не смею сомневаться в законе сохранения энергии, то, вероятно, наш дом находится в плотном облаке излучаемой мной энергии, направленной на сына. Но в него она как-то не внедряется, обтекает. Но ведь пропасть она не может?

⁶⁸ Написано по заданию моего школьного учителя физики, кажется, я был в седьмом классе (прим. А. У.).

Первое землетрясение

Знакомство первое с ним в детстве. Меня разбудили, бабушка обнимает меня, натягивает чулки и что-то говорит спокойное, ласковое, но страх и напряжение не только в ней — во всей комнате, в неожиданном свете среди ночи и шуме вне дома. А мама двумя руками держит буфет, а он дрожит и пытается рухнуть, и лампа под потолком качается. И потом баба непривычной для нее интонацией: «Да брось ты этот буфет, Галку во двор выноси». И вот мы во дворе, все там — закутанные в одеяла, и Анька, и Нина, и малыши на матрасе. И сразу стало веселее. Взрослые мечутся, но криков, плача нет, потом решают сообща — в дом не идти, вещи не спасать. Наверное, мы, дети, потом заснули, и возвращения в постель я не помню. Это был 1948 год, страшное ашхабадское землетрясение. Бабушку потом мобилизовали для поездки туда, но что-то изменилось, и она рассказывала только о детских палатах, наполненных покалеченными детьми, вывезенными из Ашхабада.

* * *

Меня охватывает иногда просто томление, протест отчаяния, окаянная покорность перед немотой шеренг уходящих. Я не в силах понять, смириться с тем, что вот жизнь, такая горячая, насыщенная страстью сердца, теплыми сумерками под зеленой лампой, страданиями, преодолениями, такая вот телесная, осязаемая жизнь, а потом — немота, забытие и ничего нет, кроме разве чьего-нибудь сердца, где хранится в тепле все уменьшающийся язычок любви, пока и он не погаснет вместе с сердцем. И вот люди пишут, фотографируют, на время —

да, живет, потом — это архив, потом — исчезает и это. Тщетно! Может быть, вы правы в своей немоте, мои любимые, может быть, не стоит задавать вам вопросы, пытаться оставить вас, живых и настоящих, в этой тетрадке — все равно искаженных и моей пристрастностью, и моей мерой непонимания, и вообще тем, что сказанное всегда чуть-чуть не так, как на самом деле.

1992 г.

* * *

Звонил Алексей⁶⁹ из Иудеи, тоскует, вспоминает. «Никто не верит, когда я рассказываю, что мне довелось увидеть, живя в Ташкенте. Ну вот, например, ты представляешь, я застал еще пристань в Чиназе. Стоял на ней, ждал парохода, который ходил от Арала по Сырдарье. А с отцом мы в низовьях Салара фазанов стреляли (это я был в десятом классе), красивые и очень жирные. Хе-хе!»

Родина, родина, родился, родные, род, без роду, без племени. Родина все-таки, оказывается, там, где родился. В России общением с родиной оказался язык, он и стал самым главным утешителем, а сначала лукавым обманщиком. Обещал, уводил, запутывал. И с тех пор все пытаешься любить, полюбить, но ответной любви нет, а там и не думалось — ответная-безответная, — кипело, пылало, жизнь бушевала, и ранила, и целила. Терпение, удивление, усталость, надежда, а время съедает день за днем, и остается все то же — родина там, где родился. А если родился не там?

Родина с заглавной, родина с маленькой, — разор и раздор.

28 июля 2005 г.

⁶⁹ А. А. Землянов, троюродный брат, родившийся в Ташкенте.

* * *

Болтали вечером с Ерискиной⁷⁰ о том, о сем. Выяснилось, что она не знает, вернее, не видела озеро Ласково. Не перестаю удивляться — всё то же — коренной рязанке Тане Власовой показывала, водила на озеро Черненькое. Так и не пойму никогда, почему и отчего нет интереса к земле, даже своей, а может быть, именно своей? Италия той же Власовой и интересна, и доступна.

А у меня озеро Ласково началось из «сказания» и навсегда осталось явленное «Сказанием о деве Февронии», прочитанным еще на азиатской земле. Наше последнее лето 2003 года на рязанской равнине и поездка к озеру, в Мещеру, которая тоже для меня началась с Паустовского, Гайдара, ботанического разнотравья. Озеро было униженное, изгаженное, изнемогающее. Два раза входила в воды. Первый раз просила разрешения, во второй, и зная, что в последний, заплыв подальше, чтобы гам и плеск «отдыхающих» не мешали, легла на спину, замерев и слившись, глядя на небо и чувствуя слабеющие силы озера, последнюю ласку измученных вод, просила прощения за себя, за всех нас. Просила потерпеть, остаться, может быть, что-то изменится. Стыдно было.

* * *

Наташа⁷¹ плакала, когда самолет делал круг над Ташкентом, идя на посадку. Из запахов самый сильный и родной для нее — пыли, лессовой ташкентской пыли. А я из родного города унесла запах дубов. Долго не понимала почему, когда возвращалась из «Рязанграждан-

⁷⁰ О. В. Ерискина (Коган), учившаяся у Успенской в Рязани и затем дружившая с ней до конца.

⁷¹ Н. А. Землянова, троюродная сестра, родившаяся в Ташкенте.

проекта» домой, где-то посередине улицы Садовой сжималось сердце и вспоминался дом, Ташкент. Потом поняла — там рос дуб, громадный, и это его запах будил во мне: поворот с улицы Каблукова (или Новой) на свою родную Учительскую начинался дубами, их ароматом, а там, через три дома — двор, терраса, дом. Аромат дубов стал на всю жизнь запахом родины.

* * *

Она в конце очень устала. Устала от людей. Думала, как всегда, не о себе, ей нас было жалко. Перед смертью, за день до нее, сказала: «Так получилось, что оставляю вас одних, без денег. Как-то так вышло, что работали-работали, а ничего не заработали. И вы такие же бедные, какие мы были, ничего вам не оставляем». Я с азартом, наперекор и от сердца всего, — что наследство ее громадно, и не в деньгах мера его. Мама грустно: «Трудно будет с таким наследством».

Она нас жалела, мы были слабее, я слабее, я не могла «смотреть на солнце».

* * *

Чего-то я не поняла, какой-то есть ущерб во мне. Давным-давно с детства осязаемый. Отвержение вместо приятия. Придумывание вместо понимания. Упрямство вместо делания. Страдание вместо наслаждения. Закрытые глаза на- и открытые во-, вовнутрь, в выдумку. И сослепу все время либо лбом в стену, либо в яму. И нет, не открываются глаза. Все больней, все меньше сил. Не принимаю, не могу, не хочу. Не хватает ни разума, ни сердца принять жизнь, не чувствую себя полноценной, чтобы войти в жизнь, жить в ней. Уже 52, понимаю, что все это гордыня, да уже и не имею ее, а вместо нее пришло не разумение,

а только страх и желание залезть в нору, де бы не тронули. Проклятье — за кого, что, от кого идет? И как можно было не поумнеть?

Предательство. Анька, Зара, Инка и дальше по списку. Сама подставляюсь. Все. Кроме мамы. Только она одна, и не только меня, никого, никогда, даже по мелочам. Господи, мамочка, ты была и укровом и утишением (именно через «и» — тишина), большим деревом, под которым в зной прохладно, в дождь сухо, ты мне была всем-всем.

Самая моя счастливая жизнь, самая надежная, самая нестрашная, уютная, любовная жизнь была с тобой. В тебе можно было от всего спрятаться, отогреться, отплакаться и обнадежиться. Я так по тебе скучаю, я так перед тобой виновата, я так на тебя не похожа.

* * *

Ты можешь жить самостоятельно? Самой стоять, не ища подпорки ни в матери, ни в муже, ни в сыне? Не брать и даже не отдавать, а просто стоять, не падать?

Это значит очень много чисто будничного: вовремя ложиться и не бояться проснуться, быть чистой и жить в чистом помещении, не разговаривать с собою вслух, выходить из дома, общаться с людьми, готовить себе пищу, посещать врачей, самой зарабатывать себе на жизнь, знать, где находятся слесари...

И быть при этом уравновешенной и даже счастливой, отдавать столько, сколько принимают, не лить через край, уметь уступить, обойтись самым малым...

Понять не дальнего (легко!), а ближнего, самого близкого? Можешь? Если нет, то прими, что природа отработывает человека к 50-ти, и не мешайся под ногами.

* * *

Антону вырезали гланды в ноябре. Ему два года десять месяцев. Вырезали по благу. С авторитетом врачебных заверений — «единственный выход». Ужас перенесенного остался, не стерся. Очень остро и необоримо понимание — началась его собственная судьба, отдельная от меня. Его страдания, которые я могу только разделить и не поровну, свои он оставляет себе. Антошка и до этого при уколах, лежа на животе носом в подушку, высвободил голову, поворачиваясь к нам, и сообщал: «Не переживайте, не больно, я потерплю, вы не плачьте!» И здесь, в больнице, живя с ним рядом, читая книжки, показывая диапозитивы, скармливая с ложечки кисель и бульон, я была первый раз не вместе с ним, а рядом с ним. Как ему было больно и страшно, он нам так никогда и не рассказал. И еще — стало очень страшно оттого, что его жизнь, его страдания планируем мы, он — послушен.

1974 (*год потерь*)

* * *

Взаимоотношения живой души с реальной жизнью. Тайнопись жизни может быть изведена. Редкое свойство, а точнее, желание и усилия к веданию.

Личность в своем отведенном времени и вечности.

Жизнь постоянно подает знаки, которые мы, ослепленные и замороженные реально происходящим, далеко не всегда замечаем.

Зримое и явное интересно, полно и связано с вечным лишь тогда, когда человек чувствует присутствие незримого и неявного скрытого смысла, который может оказаться важнее очевидного.

Причастность к этому незримому дает силы и способность вспыхивать от вечного огня.

Сам факт рождения еще не есть гарантия того, что ты жив. К жизни надо проснуться. Это требует времени и усилий.

Можно быть счастливым в самых трагических обстоятельствах. Не подменять только счастье удовольствиями.

Талант любить — способность отдать, раствориться, посвятить.

Любовь должна быть избыточной, ибо это любовь к Жизни. Любить — значит внимательно вглядываться в предмет любви, постоянно его изучая, проникая во все связи вне и внутрь, впуская в себя, растворяя себя в нем. Тогда возможен акт творения.

1998 г.

* * *

У меня в жизни было: мама, детство, дом, путешествия, друзья, творчество, сын — все наполненное любовью, страстью, восторгом, счастьем настолько, что лучше, больше, полнее я бы не выдержала. Все по мне, по силам, никаких сожалений, никаких «вот если бы еще и это...».

Любви не было, то есть моя была, но ее не разделили. Может быть, и это к лучшему. Любить и оставаться свободной — так умела только мама, а я бы не выдержала закрепощения. А так мне ничто не мешало любить, долго любить.

Как мне было дано любить — ТЕРПЕНИЕ. Каждый день, месяц, год, десятилетие, не видя тебя, мне это время не хоронить, а благословить. Ждать, ждать, не дожидаться, и снова ждать, и не перегореть при этом. Не позволить себе обидеться, отчаяться. Верить, любить, надеяться. Не растерять ничего, не дать погибнуть ни одному ростку. Наоборот, копить, выращивать, хранить, множить, чтобы было чем дарить, делиться, отдавать. Не впасть в отчаяние,

не устать, не соблазниться более легким, доступным. Не изменить ни словом, ни помыслом. Дабы не навлечь беды. ПОНИМАНИЕ. Слышать себя, голос собственного сердца. Не дать сбить себя доводами рассудка, который так часто в течение нашей жизни подсовывал нам истины житейские, те самые мудрости, которые помогают не слышать и не видеть той щедрой правды, что и есть действительность, а не ее имитация.

Жизнь это вот то, что сейчас, и то, что прошло, а будущее зависит от того, как мы проживаем вот это, текущее мгновение. Услышь его, его наполненность, щедрость, откройся ему. Если сможешь, значит, достоин дара, достоин жизни.

ТВОРЕНИЕ — творение жизни.

* * *

«Пока свободою горим, / пока сердца для чести живы, / друзья, отчизне посвятим / души прекрасные порывы».

Душа растет в любви.

Неутоленность души упразднила необходимость.

На предложение любви — отказ.

Душе тесно, духу расти чем.

Оттепель — не холодно, не жарко, духу-душе — душно.

Национализм, патриотизм в прекрасном смысле этих слов.

Русский — не забывалось, наоборот, слишком помнилось, за спиной стояло — Россия, от ее имени, ее представители.

Чувство вины перед народом — идти в народ.

Здесь в сверхполноте осуществилось.

Одиночки-личности (но не индивидуализм, экзистен-

циальность на уровне личного долга) — но общность личностей.

Россия поручившая.

Исполнилось в полноте — учителя — потребители благодарны.

Ученики — служение уже частью служба — в подросшей толпе, где откровенность потребления, использования. Отстаивание себя в уплотнившейся среде, упорство — в упрямство, одиночество.

И мы дети учеников — оттепель. Восстановление той полноты бытия, что лично тебе не досталась. Оттепель — романтический всплеск, оплакивание — шестидесятники, последнее цветение, не давшее плодов. Исход — из России — на Запад. Мы в Россию, в отечество. Сильнее сохранилось. И кому вынести — два раза потерять? Только евреям, те на прародину тоже.

* * *

Цветаев отец — строитель России — осуществление.

Марина, Сергей — дети — защитники, рыцари, певцы. Творцы, не сдавшие позиций. Масштаб не устроителя, а пахаря, расширителя.

Ариадна, Мур — внуки — среди толпы, гона — сохранить идеал. Не сдать, не сдать. Не осуществление полноты жизни. В ободрение, а не в назидание нам, правнукам — все равно можно прожить, опираясь на это, даже без помощи Бога.

Мы — правнуки — хранители семени, чтобы не сейчас, так когда-нибудь проросло, связалось. Мы уже одни не можем, мы к Богу пошли за помощью. Не жить в предлагаемых обстоятельствах, не жизнь — компромисс, а жизнь — Вера, жизнь — Память, жизнь — сохранение,

передача в наследство. Храня — значит, защищая, сами — беззащитны. «Катакомбная культура».

Хранить остатки порушенного наследства, искать наследников.

Заставить быть наследником.

* * *

Бродский пишет Горацию. Зачем, Марина, ты так похожа? Кому же еще я могу написать?

Лукуллов пир измечтан все же, нет аппетита, порции малы. Удовольствия — замена счастью. Какие пиры ты устраивала, вместо толпы — одинокий гость с изжогой.

Ты хотела отдать — много, слишком много! Отказ. Не просим дать, просим взять! Столько не нужно, да и это малое непереваримо. Я тебя понимаю, так хотелось силы, нежности, страсти! Петля стянула твою шею, последняя ласка, так бы в жизни — до последнего вздоха, а получилось — в смерти.

Ты одуванчик, Марина, нас много, парашютиков, отлетевших от тебя. Мимо мы, мимо нас. Мы не съедобны? Нас слишком? Солнца? Силы? Бедности? Раскраски? Мы не комфортны. Мы на когда? Кому? И где? Зачем, Марина, мы так похожи?

Обрывки и описки Обмолвки и огрызки

Обыкновенная жизнь — это необыкновенно плохая жизнь.

Зависть — форма убежденности в несчастной судьбе.

Самоидентификация, — когда я сравниваю себя с не русскими, я чувствую себя русской, когда сравниваю с русскими, понимаю, что — не русская (2005, окт.).

Проблема тоски, хандры в русской литературе решалась только двумя способами — или уехать (причем как можно дальше, лучше на край света или под пули: на Кавказ, в Болгарию..), или умереть. У Чехова как-то слабо и нудливо возникло: «работать надо», но не хватило энергии не то чтоб в дело окунуться, но саму мысль оформить.

Вообще, у меня возникает ощущение, что у наших великих умов велика соответственно уму и растерянность перед жизнью.

Прошлое, живущее во мне и воскрешаемое в текстах, на бумаге, исторгнутое, не гибнет во мне, но лишается голоса, я его не слышу больше.

Опера Арефьева «Вкус репы» (из сна).

Чтобы начать работу, сосредоточиться на ней, надо начать с ограничений. Выбор ограничений — это и делание собственной жизни.

Моя страсть — страсть искателя, но не страсть захватчика, добытчика.

Русалочка Христова (из сна).

Средний человек считает себя очень хорошим человеком.

Несчастье — это когда ты палач, а не жертва.

Собаки по реке плывут,
Налимьи гнезда там и тут.
Пейзаж приветен, дремуч закат,
Луны дождемся и выйдем в сад.
(стихи из сна)

Настоящее, захватывающее чувство удовольствия, полноты его, приносит только творчество, никакие путешествия, праздники, приобретения, влюбленности, увлечения (я имею в виду рыбалку и т.п.) этого не дают.

Если мысль — это энергия, а слово — форма этой мысли-энергии, то тогда отмаливать грехи не только свои, но и своих предков — совсем не пустое дело. То есть энергия зла, ошибки, неправды уничтожается, умаляется посылом молитвы, покаяния, раскаяния. Наложение, растворение, дробление предыдущего слова, мысли, поступка.

От жизни я не устала, я устала лечиться.

Творчество возможно только от избытка сил.
Избыток, ищущий выхода.

Названия, имена

Город присоед. к России 30 (17) июня в 1865 году
Черняевым
Переушинский мост
Куйлюк (дед охотился)

Базары:
Алайский базар
Госпитальный рынок (Успенский собор, действ.)
Туркменский базар (центр)
Старгородский базар (с Чор-Су на Урде)
Бешагачский (Октябрьский) рынок (пл. Беруни)
Паркентский базар
Шорный пер.
Ангрен
Кукельдаш (лобное место)
Площ. Иски-Джува
Шейхантаур
Канал Анхор, Боз-Су
р. Салар
Сквер Революции (Констанстиновский)
Веером улицы. Театральная пл. (Воскресенск. базар)
Карла Маркса (Соборная пл.)
Чимкентский тракт
Четырех- и восьмирядн. посадки деревьев вдоль арыков
Сады на «Тезиковке» (имя богача?)
Кашгарка (евр. гетто)
Обсерватория
В 90-х годах откр. медиц. учрежд.
Мошение кирпичом и булыжником
Помещение бывш. Общественного собрания (угол ул. Советской и Гоголевского) кинот-р «30 лет ВЛКСМ»
Тюрьма на углу Алайск. и швейн. ф-ки
Ташкентская крепость кетмень
Кабельный завод
Арысь
САЗГУ в 1920 г. Макеева, Баранов, Коровин, Райкова
Румшевич — хлопок

Детск. жел. дор. в парке им. Сталина
Кибрай больн. АН — мама
Карахан (худ. и сотр. Стасика)
Руми (сестра Т. Ханум)
Озолин (немец — розы, сирень)
Зоопарк
Щусев (1-е место — Пителин) Чингиз Ахмаров
Фейруз Ашрафи
Бернара Кариева
Лаут (опера)
Рудольф Керер (ф-но)
Парк «Победа» мин. вода — горячая
Зоосад в конце Балыхчинской на Саларе
Ботсад заложен в 1950 г. (95 га)
Бельгийская конка
В 1912 трамваи

* * *

«**Т**рудно ли против ветра идти? — Нет, превозмоги лишь воздух.

Трудно ли по ветру идти? — Нет, покорись течению».

Первая характерная черта любви — избирательность, выделение одного, единственного из ряда. Она и служит границей между любовью и более обширной территорией эротики.

В любви жажда обладать преобразуется в самоотдачу.

Исключительность — требование идеальное и без нее не бывает любви. Она редко встречается, и все-таки это единственно возможная форма любви.

Любовь (союз любящих) зависит от времени, его превратностей: болезней, перемен, страданий, старения,



смерти. И хотя любовь не избавляет нас от всего этого, она не просто протест, она — противостояние смерти.

В любви время растягивается и перестает быть мерой. Миг крошечный и бескрайний длиной в мгновение ока и длиной в век. Любовь дарит нам не вечность, а взрыв напряженности, *здесь* превращается в *там*, а *сейчас* во *всегда*.

В личности — тело и душа неотделимы. Одновременно любим смертное тело и бессмертную душу. Тело мыслит, душа осязаема. Преображение телесного в духовное и наоборот.

Всякая любовь — евхаристия, благодарственный молебен Богу, Жизни!

Любовь — это прежде всего мечта о полноте, избыточности, наполненности. Не «дайте», нет — «возьмите»!

Этика памяти

*Чувство чести требует, чтобы
жертва была более полезна, чем блестяща,
оно говорит не о притязаниях, а об обязанностях.*

А. Лаховский (автор книги об афганской войне)

Думать легче, чем любить. Работать легче, чем любить. Жить = любить.

Как прожить жизнь, чтобы она того стоила? Вопрос стар, как мир.

Уверенно ответить может моралист, безапелляционно — демагог. По-моему, дело не в конечном итоге, а в том, что вопрос ставится и решается на каждом шагу.

Понять, в каком из возможных действий мы полнее осуществимся, какое из них наиболее наше, внутренне оправдать свой выбор. Не решив это, мы обманем и предадим себя, убьем частицу нашего жизненного срока, а времени у нас в обрез.

Жизнь подсудна, ибо жизнь — поручение. (Тех, кто рожал и растил, народа, которому принадлежим, проникая его культурой и этикой.

Человечества, законов живой природы и других законов, перед которыми опыт и знания уступают место вере.)

«Жизнь, как поручение» пафосно звучит, то есть в литературе прием известный — гипербола, но в математике ее ветви уходят в бесконечность. Жизнь всегда

единственна, это жизнь каждого, жизни «вообще» не бывает. И если поручение не выполняется, то жизнь становится самоубийством.

Ничто так достоверно не говорит о человеке, как высота мишени, на которую нацелена его жизнь. У большинства она ни на что не нацелена, что тоже своего рода целенаправленность.

«Если тигр не может перестать быть тигром, не может «растигриться», то человек постоянно рискует расчеловечиться. Это правда, применимая к каждому из нас».

На наших глазах Россия становится страной без науки, без литературы, без армии — захоластьем. Господство массы.

Массовый человек — всякий и каждый, кто ощущает себя таким же, как все. И не удручен, но доволен своей неотличимостью. Не обманываясь насчет собственной заурядности, отстаивает свое право на нее.

Отличие нашего времени не в том, что посредственность заблуждается на свой счет, полагая себя незаурядной, а в том, что она провозглашает и утверждает свое право на пошлость. То есть утверждает пошлость как право. И беда нашей цивилизации, что она плодит именно такой, губительный для нее человеческий тип.

Достигнутый прошлым веком технический и социальный прогресс (и развитый нашим веком) повысил уровень жизни и понизил уровень самого человека (две пирамиды), в итоге сделал человека большим варваром, чем тот был сто лет назад. Вдохнули силу и спесь прогресса, но забыли о духе, естественно, масса и не помышляет о нем.

Потребительский эгоизм и массовая косность избавляют от личной ответственности («Жизнь как поручение» — не придет в голову и на смертном одре).

Умение любить, рисковать, жертвовать собой! Язык: усилие, способное с приближительностью выявить то, что творится у нас внутри. Но и этой возможностью мы не пользуемся. Речь — средство скрывать мысли, то есть лгать. Но и ложь не могла бы существовать, не будь наша речь изначально искренней. Фальшивая монета ходит, опираясь на полноценную. И при всей ограниченности языка, неточность, неясность, неуклюжесть языка стремительно растут. (Язык — мысль — мозг, прямая и обратная связь, то есть опять понижение, усреднение).

Скатываемся к пугающе однородному состоянию. Ранее однородность не противилась разнообразию. Наоборот, она лишь расцветала всякий раз, как появлялось новое единообразующее начало. Христианская идея рождает национальные церкви, наследие Римской империи вызывает к жизни разнообразные формы государства, «возрождение классиков» XV века разводит литературные дороги во все концы, сумасбродная идея XVIII века, согласно которой все народы должны иметь одинаковое устройство, приводит к пробуждению национального самосознания (а это вело каждого к сознанию собственного призвания), тотальное господство Советов к расцвету и рождению национальных литератур, театра, школы, языка, уникальной школы переводной поэзии, переводчиков и т. п.

И для всех этих народов, именуемых советскими, жить означало — двигаться и действовать в общем пространстве. Существовать означало сосуществовать с остальными. Исторически пространство измеряется длительностью сосуществования, это пространство общественное. Общество создается самим фактом сосуществования. Последнее неизбежно и самопроизвольно вырабатывает обычаи, нравы, язык, право.

Развалилось — обломки и руины, простор для сорняков.

Право, реальность права, а не соображения на этот счет юриста или демагога — это непроизвольная секреция общества, продукт его жизнедеятельности. Добиваться, чтобы право устанавливало отношения между людьми, еще не составившими общества, — не иметь представления о праве. Однако такое представление господствует.

Несоответствие между высочайшим уровнем научных идей (той же физики) и гуманитарных знаний. Вернемся к сказанному выше (технический прогресс: дух → 0). Представление того же физика о жизни социума — на уровне местечкового парикмахера. Неудивительно, что последний и задает тон.

Там, где действующая сила, динамизм объединяет, имеет вектор цели, направления, там реально существует единство. Единство для русского суперэтнуса (суммы субэтносов?).

Россия — единая нация, состоящая из многих. Великая континентальная семья. Разноцветье, которое коренится в изначальном единстве. Идея общности, где от многообразия к единству и наоборот. И вот на всем этом континенте утверждается форма общности, грозящая уничтожить структурность. Повсеместно воцаряется массовый человек. У этого массового человека отбита историческая память, выхолощено прошлое. Муляж человека, которому недостает «нутра», в нем нет личностного начала, непреклонного и неотчуждаемого. Нет того «я», которое нельзя упразднить. Посему он и полагает, что у него есть одни права, не подозревая, что существуют обязанности и что вообще «благородство обязывает».

Поскольку у этого симулякра нет предназначения, нет собственной судьбы, нет дела, для которого он рожден, он совершенно не способен представить, что существуют призвания и служения самые разные.

Свобода означает возможность стать тем, кто ты есть на самом деле.

Чтобы человеческая природа расцветала, совершенствовалась необходимо многообразие ситуаций. Разнообразная среда, различные обстоятельства и возможности.

Многообразие ситуаций упорно сокращается — люди стали глупеть, а в 60-х мы наивно говорили о сайентификации общества.

Зловещий симптом и результат — в языке. Разоблачает скрытое самочувствие общества. Язык, не способный ни гранить мысли, ни расцвечивать чувства. Язык, лишенный светотени, лишенный яркости и душевного жара.

«Быть левым, равно как и правым, — один из бесчисленных человеческих способов быть глупым».

Масса утратила способность к религии и знанию. Она не может вместить ничего, кроме политики. Политика отнимает у человека его сокровенное, лишает одиночества.

Три столетия «рационализма» — картезианский *raison* (разум), его блеск и его ограниченность. *Raison* — математика, физика, биология.

Торжество над природой лишь подчеркивает беспомощность в делах сугубо человеческих, требует включения в «исторический разум».

Революции, безоглядные в спешке, лицемерно щедрые на обещанья всевозможных прав, попирают первейшее право человека, настолько первейшее, что оно определяет человеческую сущность — право на непрерывность, на преемственность.

Шимпанзе отличается от человека не умственным развитием, а короткой памятью. Человек, благодаря своей способности помнить, копит прошлое, владеет им. Он не может оказаться первым человеком на земле — его существование начинается на определенной высоте, на вершине накопленного. Это единственное богатство человека, его привилегия и его родовой признак.

Подлинное богатство человека — богатство человеческих ошибок, жизненный опыт тысячелетий.

Ницше: «высший человеческий тип как существо с самой долгой памятью». Аномалия в лице массового, среднего человека, его способность, мера способности продолжать современную цивилизацию и культуру?

Обрушение верхней пирамиды похоронит под обломками нижнюю.

Наша цивилизация учит правам, а не обязанностям, оставляет невозделанной, некультуренной глубину существования, то, что в жизни человека абсолютно или тяготеет к абсолютному. Она поверхностна. От того люди так легко отмахиваются от ее заповедей, либо хватаются за ту, что в данный момент их устраивает.

Если исчезают ориентиры, по которым можно определиться, если человек искренне не понимает, что возможно и что — нет, тогда и сама жизнь становится недостоверной. Поскольку нет больше оснований поступать так, а не наоборот, он привыкает жить подставной промежуточной жизнью. Жизнь у каждого одна и делать эту единственную жизнь чем-то промежуточным?

Кризис культуры тогда неподделен, когда человек не находит мира, в котором ему жить — то есть окончательно осуществить свою жизнь.

Нашей культуре не хватает полнокровности, чтобы удержаться нас.

Культуру, какой она была прежде, культуру, которая не дает человеку устраниваться от нее, потому что она вплавлена в его личную жизнь, культура укорененная, исконная, вошедшая в человека.

Жизнь получается неукорененная, ненастоящая. Мы не тело, утратившее тень, а тень, утратившая тело. Жизнь человека драгоценна потому, что ее краткость уплотняет ее, прессует. Прелесть отлета дарит всему живому его мимолетность.

Загадка истории — загадка счастья. Нет счастья и несчастья, есть жизнь и смерть.

1998 г.

Биографические сведения

Галина Николаевна Успенская родилась в Ташкенте 4 марта 1943 года. Мать М.И. Землянова работала в ташкентском Ботаническом саду. Отец Г.С. Баранов пропал без вести под Курском в 1943, где воевал в саперных войсках. Жила с мамой и отчимом в двух комнатах в доме, построенном двоюродным дедом, Т.К. Земляновым, на улице Учительской (Кары-Ниязова). К тому времени дом и двор давно уже были коммунальными. Лето 1954 семья жила в сарае в Ботсаду. В 1955 умерла «бабушка» — двоюродная тетя М.Т. Землянова. В 1961 поступила в Ташкентский политехнический институт на архитектурный факультет. Во время учебы была на строительной практике на острове Муйнак в устье Амударьи. С 1967 по 1975 работала в проектных институтах Ташгипрогор, Ташгенплан, ТашЗНИИЭП архитектором и научным сотрудником. В 1967 вышла замуж за М.И. Смирнова, в 1968 родился сын Антон. В 1970 принята в члены Союза архитекторов, тогда же развелась. В 1971 вышла замуж за А.И. Лисса, в том же году зачислена в аспирантуру Института искусствознания им. Х.Хаким-Задэ Ниязи «без отрыва от производства». Производила социологическое обследование традиционной застройки Бухары. В 1974 трагически погиб отчим С.Ю. Рожановский. В 1975 по своей инициативе перевезла семью в Рязань. Работала архитектором в проектом институте Рязангражданпроект. В 1976 прошла курсы

повышения квалификации по градостроительству в Московском архитектурном институте. В 1980 умерла мама М. И. Землянова-Рожановская. В 1983 перешла на работу в Рязанское художественное училище преподавателем специальных дисциплин: основ архитектуры, материаловедения, архитектурно-строительного черчения, композиции. В 1985 распался второй брак. В конце 1986 тяжело заболевает, через полгода признана инвалидом II группы, уволилась с работы. С 1989 вернулась к архитектурному творчеству, участвовала в конкурсах и выставках, несмотря на постоянные болезни и операции. В 1990 заняла I место на Всероссийском конкурсе с проектом архитектурно-скульптурного комплекса «Слава советской женщине» (совм. со скульптором Р. Лысениной и художником А. Успенским). В 1992 крестилась в православие. С 1997 занималась преимущественно частным интерьером и ландшафтной архитектурой. В 2003 появились признаки последней болезни. В 2004 переехала к сыну в Санкт-Петербург. Летом операция подтвердила смертельный диагноз, после чего прожила 2 года, 2 месяца, 2 недели и 2 дня. Записывала воспоминания, сделала эскиз интерьера. Последние девять месяцев была прикована к постели, умерла 26 августа 2006, похоронена на кладбище Павловска.

Содержание

<i>Краткое предисловие</i>	4
Город	5
Это был Ташкент	6
Опальный князь	26
Землетрясение	33
Древний Мерв	39
Защита Азии	44
Двор	53
Дворы	54
Соседи	56
Из дома	65
Дом и двор	68
Вернуться домой	78
Нищие	81
Семья	83
Фамилия	84
Маме с благодарностью	90
Землянова	96
Хмоловская	102
Антон	131
Последнее лето	134
Декадник	152
Мы должны	155
Тексты	157
Степь	158
Хлопок	160
Счастливая сторона жизни	167
Гиссарская экспедиция	172
Кишмиш	178
Замуж	180
Рига. Музыка	190
Савицкий	194
Кызыл-Тепе	199
1953	202
Балет (и не только он)	210
Малые формы	239
Этика памяти	270
<i>Биографические сведения</i>	277

ББК

Г. Н. Успенская

**Ташкент —
прекрасная эпоха**

Составитель, редактор А. Успенский
Дизайн, верстка Г. Сазонова
Корректор Т. Румянцева

Издательство ООО Редакция журнала
«Новый мир искусства»

Подписано в печать 24.07.2008 г. Формат 0000
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Лазурский»
Уч.-изд. л. 0000. Тираж 500 экз. Заказ № 821

Отпечатано в типографии «Нестор-История»
СПб., ул. Розенштейна, д. 21
тел.: (812) 622-01-23

Фотография на обложке: Галя Успенская с Шариком. 1949 г.